

Феликс Кандель

Против неба  
на земле



Феликс Кандель

**Против неба на земле**

«Мосты культуры»

2008

**Кандель Ф.**

Против неба на земле / Ф. Кандель — «Мосты культуры», 2008

ISBN 978-5-93273-280-6

Вашему вниманию предлагается книга Феликса Канделя «Против неба на земле».

ISBN 978-5-93273-280-6

© Кандель Ф., 2008  
© Мосты культуры, 2008

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая. След и тень         | 6  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 36 |

# **Феликс Кандель**

## **Против неба на земле**

©Мосты культуры/Гешарим, 2008

©Ф. Кандель

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Часть первая. След и тень

Всё случайное не случайно. Всё необязательное обязательно.

Шел чумацкий обоз по степи, вез соль из низовых земель, чтобы поспеть на ярмарку и продать с барышом. Волы тянули поклажу, хвостами отбиваясь от слепней-кровососов. Чумаки выпевали с ленцой тягучие гласные – эхом вислоусых, чубатых дедов, истоптавших эту тропу. На вечерних привалах мазали дегтем колеса, варили в казане кулеш, пили теплую горилку, заедали оплывшим прогорклым салом, валились навзничь на иссохший за лето ковыль, выглядывая твердь над головой, течение небесных светил, путеводную Чигирь-звезду, по которой сверяли намерения. Пролетал сыч к сычатам на бесшумных крыльях. Гукала неясить от несытости своей. Падающие огни рассекали черноту ночи. Это блазнителю сходили на землю к наведению порчи, выворотни изнаночного мира шершавили небосвод для посещения одиноких женщин, чьи мужья отправлялись на промысел, – чумаки задумывались, каждый о своем, и шумно вздыхали.

Разговоры огорожены словами. Молчания – беспредельны, на все стороны, по всем ветрам и соцветиям, как степи вокруг, обширны и поместительны, где места каждому – хоть руки раскидывай, но простора в их краю не было, простора в молчании не было нигде от вселенского окаянства, а потому костры в ночи не сохраняли, чтоб не привадить визгучих, лихорожих инородцев – зуб крив изо рта, выбегающих из приморского поганства на отгон людей и скота. Взглядывал из потайных убежищ несысканный люд, бедствиями прибитый, вымаливал без надежды: «Не подступило ли замирение? Хоть где, хоть кому?» – «Нет, – отвечали чумаки, – не подступило». – «Не отошли ли полночные страхи?» – «Нет. Не отошли». – «В другой раз уже взглянем, – и вновь уползали в затенья с подлазами, в ненадежные свои укрытия. – Зимой-то оно способнее: вкопался в снег и затих...»

«...лихо не лежит тихо.

Бедя не приходит одна.

Исподволь подступали конечные дни, по беспечности не замечаемые, и в ляхолетье закружило народы – пылью по битой тропе.

Крест целовали на верность высокородному, опухлому и болезному, говорившему редко, обрывисто и невпопад сообразно малоумию. „Ума нету вовсе“, – отписывали послы в запредельные страны, а ему, блаженному, пели песни и сказывали сказки, его потешали шуты с шутихами, карлы с карлицами, ученые медведи увеселяли плясками, охотники выходили на бой с волками-растерзателями, а он улыбался в тихом младенчестве, поигрывая царским скипетром, катая державное яблоко, нетвердыми ступал шагами к раннему упокоению, сходя в могилу беспотомственно, при неплодной царице.

Крест целовали на верность мужу разумному, худородному, начинавшему новую династию, „чтобы впредь было крепко, недвижно, стоятельно навеки“. Его опасались чиновники, склонные к крамолам, умышляли, желая извести, а он запирался в кремлевских хоромах, пребывая в сомнениях, пыхал завистливой злобой к знатым соперникам, не позволяя детей заводить, дабы появление потомства не повело к честолюбивым умыслам, яростью наполнялся на всякого, кто обретал расположение на скопищах, – в ратном деле был неискусен. Слушал волхвов с кудесниками, прозревавших царское будущее, но объявился на границе след тени убиенного царевича: кому беглый чернец-расстрига, а кому и природный государь, – состояние умов стало подозрительно, шаткость и недоумение в войске, что ужаснуло государя, склонного и без того к испугу.

Сновали по улицам шиши, лазутчики-переносчики, подслушивая разговоры, шептунов хватили без промедления, резали им языки, сажали на колья за малую провинность, пекли

на углях, окармливали отравой, умножая вселенскую скорбь и вопль. Ветры опрокидывали колокольни в недобром знамении. Птицы отлетали в иные края и рыба отплывала. Собаки пожирали собак, а волки волков. Бабы рожали немыслимых уродцев. Лисы бегали по столице среди бела дня. Три солнца явились и два месяца, сражались огненные полчища на полнеба, а у царя страх подточил силы, „яко червь во свище ореховом“, кровь проступила напоследок из носа-ушей – не унять...

Присягнули без противления его сыну – румян, черноглаз, полон телом, обучен премудрости и философскому естествословию, но подступала к столице тень убиенного царевича с охочим войском, дабы отобрать престол у похитителя – к тому часу, „как на дереве станет лист размётываться“. Вновь хватали по улицам подметчиков с поклепщиками, пытали накрепко, томили в непродышных задухах, но партия была проиграна, а оттого стащили юного царя с престола, на водовозных клячах отвезли в заключение. Мать его удавили веревкой. Его оглушили дубиной и тоже удавили. Многолюдству было объявлено, что сын с матерью со страха отравились, а многолюдство на радостях перепилось до бесчувствия и потери жизни, обратившись тем самым в малолудство...»

...шел чумацкий обоз по степи, вез соль из низовых земель. Писк суслика. Шевеление ящери. Переклик ястреба и скрип колеса. Ехал в обозе престарелый рабби, изнуренный дорогой, возвращался в дальнее поселение, чтобы высвободить тайны из укрытий – каждому по его разумению. Рот, руки-ноги в подчинении у человека, глаза-уши-нос не в подчинении, и лишь рабби управлял всеми своими чувствами. Шептались о нем, будто сны виделись ему кашерные, а некашерным не было доступа. Будто побывал в хранилище душ, видел всякие чудеса, о которых нельзя рассказывать, отпущен с поручением назад – уводить избранных в глубины сокровенного. «Рабби, – вопрошали молодые в горении души. – Что делать, рабби? С чего начинать?» – «Развязывать, – отвечал. – Узелки неприязни. Добром оборачивается зло, отложенное на потом...» Ехал с рабби преданный служка, угождая в пути и на привалах, как мать угождает ребенку, не помышляя о награде. Слепни не тревожили их, блохи не заедали на ночлеге. Ели в сторонке, молились в сторонке, а чумаки взглядывали с почтением на святого человека, который прозревал невидимое, силой своей молитвы отводил беду в разбойных краях.

Небесная доброта переменчива. Объявилась на границе тень убиенного царевича, одолела перелазы на реках и двинулась на столицу – добывать Московское государство. Следовали за тенью паны, шли сбродные команды, разноплеменные охочие люди, нападатели с разорителями; походя ограбили обоз, отобрали у рабби овчинный жупан, которым укрывался во сне, ознобили испугом. Человек мал, а испытания велики, не всякому по плечу: к ночи, в грозу промок рабби на яром ветру, подхватил простудную горячку – много ли старику надо? – и отошел к полудню в мир иной. Служка упрашивал чумаков, деньгами соблазнял, в ногах ползал, чтобы довезли тело до ближнего еврейского кладбища, но те спешили на ярмарку, а потому просьбам не вняли: схоронили рабби в ложбинке при дороге, возле одинокой корчмы, и отправились своим путем.

Надорвал служка одежды, побежал по шляху без дыхания в груди, взмывая на косогоры и опадая в низины, застучал в окна-двери:

– Которые похоронят своего! Среди чужих!.. Горе, кричите, горе!

Громко возопили сыны Израиля. Голос скорби вознесли к небу. Бежали. Стонали. Спотыкались на пути плача. Рвали на себе волосы, будто пришел последний их час. Роняли туфли с босых ног и не останавливались, чтобы подобрать. Бороды раздваивались на ветру и утекали за плечи, крыльями взмывая за спиной. Руки тянулись ладонями кверху, чтобы излилась в них небесная милость. Пальцы дрожали, пейсы трепетали, губы шевелились беззвучно: «Владыка мира! Опора в изгнании! Насылающий смерть по справедливости...»

Горе пожрало силы, как огонь сухую траву, содрогнуло души и подломило колени: «Рабби! Наш рабби!..» Пали на могилу. Оплакали. Изготовились перенести к себе, в намоленный дом покоя, но сказал один из них, самый прозорливый, не потерявший рассудка в столь горестных обстоятельствах:

– Не станем тревожить праведного человека. Который родился с кипой на голове. Осядем, пожалуй, здесь.

Подумали. Разгладили трепанные бороды:

– Хейбт зих ун... Начните – и начнется. Продлите – и продлится... Кладбище есть. Дом учения выстроим. До корчмы недалеко. Что еще надо?

Сговорились с паном за сходные поборы и перебрались на новое место, поближе к наставнику.

Чего только на свете не бывает! Не успели оплакать рабби, как пополудни, на день седьмой, ровно на седьмой поплыл камень по многоводным разливам, грузно и неспешно, посреди лугового разнотравья, из рек в притоки, из притоков в протоки и встал накрепко на его могиле. На камне указано – каждому на обозрение: «Пал венец главы нашей...»

Кладбище заселялось. Утучнялось почвой. Проростало буйными травами, от которых порча скоту. Вредоносные духи, насылающие безумие, красногубые вампиры, всякая сотворенная мерзость обходили стороной их поселение, чураясь праведного человека. Ели хлеб, пока был у них хлеб. Пили воду, пока была вода. Рано старели и поздно выросли. Летом, посреди светлого дня, тучился край неба, обвисал над головами, и они высматривали из окошек, откуда наползает мрак. Если со стороны кладбища, от могилы наставника – как пришло, так и пройдет, щедро одождив посева, изнывающие от безводья, радугой увеселив на отходе; если с иной стороны – оглушит громом, облистает молниями, градом обобьет колосья. В топкий проливной год забурили мутные потоки, которые не перейти, вымыли промоины на кладбище, с верхом затопили могилы, обеспокоив мертвых, и те перебрались на бугор, на прогретое покойное место.

Чтобы там быть.

Годы отщелкивать – век за веком...

Тихо, ша! Не дыша!  
Не спать, не зевать,  
Музыкантам играть.  
Трах, музыканты, трах!..

Открывается дверь, входит простак с бубном:

– Добрый вечер хозяину дома! Добрый вечер хозяйке и малым детушкам – не раз, не два, не восемь!.. Вот я стою перед вами, хохотун и насмешник в козлиной шкуре, шпиль-менч с бубенцами, чтобы представить истинное происшествие, «Ахашвейрош-шпиль» – с трубами, литаврами, хитрыми кунштюками. Присаживайтесь и получайте удовольствие: игра на иной манер, печальные майселе с радостным концом, тридл дидл, дидл дудл, о-ля-ля... Расставить караулы, отворить двери – трон для царя-дурака!

Входит царь-дурак:

– Хотите знать, кто перед вами? Тру ра-ра и тра ра-ра, ра-ри-ра... Я – царь Ахашвейрош, грозный тиран, владыка Персидского царства от Индии до земли Куш: горе тому, кто с этим не согласен! На мне мундир с золотыми эполетами, на груди медали до пупа, на голове корона из картона – та-ри, ра-ри-ра...

Садится на трон.

Простак с бубном:



– Кто же у нас на очереди? Войди поскорее, ну войди! Сладкая, как цимес, аппетитная, как фаршированная щука с перцем, зажигательная, как добрая рюмка горилки... Стул для царицы!

Входит Вашти-проказница:

– Я – гордая царица Вашти, хожу где хочется, говорю что вздумается. На мне платье с золотинками, шляпка с вуалью, перчатки до локтей, над головой зонтик. Кто меня не видел, тот не встречал завлекающей женщины. Кто меня не увидит, тот зря проживет на свете, – тиди риа, риа риа, тум-там-трам...

Садится на стул.

Простак с бубном:

– Тихо, ша! Не дыша! Что за шум, что за гвалт? Куда спешит этот шейгец? Встань уже здесь, огласи царский приказ.

Входит гонец с трубой:

– Бом би-би бом, би-би бам, бам-бам... Перед вами человек низкого происхождения, случайного воспитания – на носу очки, на ногах лапти. Послал меня Ахашвейрош-дурак, велел передать: владыка мироздания с войны приезжает, а она, стервина дочь, его не встречает. Марш во дворец, эйн, цвей, драй! Выспаться царю не на ком...

Трубит общий сбор.

Вашти-проказница:

– Передай царю-дураку. Не он ли у моего деда впереди кареты бежал и коням хвосты заплетал? Безумства мои не проявлены, томления не насыщены, желания истощаются попусту. Храпеть можно и на перине, риа-тия-тум...

Царь-дурак:

– Передай царице. Чтобы не морочила мне голову, а готовилась лучше к смерти. Зовите палача, ча-ча-ча! Хватит ей жить.

Входит палач-весельчак:

– Перед вами вешатель, мучитель-потрошитель, каких не сыскать на свете, – это ни о чем, конечно, не говорит, кроме того о чем это говорит. Три дня не рубил головы, неделю не вешал, с зимы не топил в проруби – теряю сноровку-умение. Подайте кого-нибудь, ну подайте! – ри та-та, ра та-та, тум-бум-бжик...

Точит топор со скрежетом.

Вашти-проказница:

– Ах, он меня прекратил... Нельзя и в ум взять!

Рыдает.

Простак с бубном:

– Ох, Вашти, Вашти, ох, малке Вашти, ох!.. Мы продолжаем, идн, мы продолжаем: там же, о том же, те же, тогда же. Дритер акт – с ясным умом и глубокими чувствами. Говори уже, царь-дурак, мешок на возу, бельмо на глазу, – чего ж ты молчишь? Наполни поступки смыслом.

Царь-дурак:

– Приведите ко мне Вашти. Без излишних одежд-церемоний. Чтобы бедром виляние и хребтом колыхание: тру-ри, ру-ри-ра...

Простак с бубном:

– Вашти, ха-ха, Вашти... Так ее же казнили! Ох, мелех типеш, мелех типеш! Отрубленное однажды не отрастает, тридл-дидл-дудл...

Царь-дурак:

– Казнили?.. Подберите тогда другую жену. Учините поиск. И немедленно!

Простак с бубном:

– Это пожалуйста. Это мигом. Приводим мы, приводим мы, приводим мы Эстер...

Входит Эстер:

– Я Эстер – нет меня краше. Ростом с медвежий хвостик, нос впрозелень, уши-тряпочки, сама как старый башмак. Возьмите оглоблю от телеги, кочерыжку от капусты, скрип от несмазанных ворот – перемешайте, процедите через ситечко, дайте мне выпить, и я похорошею. Ой ли вэй ли, ой ли вэй ли, лю-ля-ля...

Прикрывает лицо платочком.

Простак с бубном:

– Что она говорит? Что она такое говорит?... Красавица! Скромница! Стыдливица! Нежная и трепетная! Всё-то она знает, всё-то понимает...

Царь-дурак:

– Скромница? Трепетная стыдливица? Тогда ладно... Отличим ее к лучшему, возлюбим более других жен, сделаем царицей без промедления.

Простак с бубном:

– Ой вай-вой, зовите скорее Мордехая! Алтер Мордехай, мудрый и благородный – он один способен распутать этот клубок... Морде-хай-ай-йя-йя!.. Приди уже, поменяй направление беды!

Входит Мордехай:

– Один иудей был в Шушане, городе престольном, который никому не кланялся и не падал ниц перед человеком, ибо запрещено воздавать смертному Божеские почести. На мне долгополый кафтан, на голове картуз, борода моя из пеньки. Наши слабости да обратятся в силу, – ра-и, ра-и, ра-и ру-и, тай-ри-рам...

Раскрывает книгу, закапанную воском, носом утыкается в страницу.

Простак с бубном:

– Что за стук в нашу дверь? Вус, фарвус?... Неужто принц-шпринц, brave кавалер Аман? Заходи уже, злодей, горе нашему смеху, скажи и ты слово, причины евреям беды-страдания!

Входит brave кавалер Аман:

– Я Аман, за гадостью не лезу в карман: что замышляю, то исполняю, что насылаю – не просквозит мимо. На мне генеральский мундир с погонями, если вы знаете, что это такое, на сапогах шпоры, если вы когда-нибудь их видели, на лице сажа, чтобы пугались, – тирли дирли, дирли дурли, тру-ра-ла...

Простак с бубном:

– Газлан, рамай, волчьи твои глаза, чтоб тебе расти луковкой – головой в землю! Чтоб шнурки твои пережили твои ботинки! Чтоб карманы твои вывернуло наружу, а рукава внутрь! Чтоб шерстистое на тебе стало гладким, а гладкое шерстистым! Чтоб тебя закопали-выкопали! И чтобы покрутился ты половинками, червяком на лопате, – тридл-дидл-дудл...

Brave кавалер Аман:

– Хи-хи-хи и хо-хо-хо! Браните меня, хулите, кройте почём зря: это придает силы и укрепляет намерения. Завтра я повешу Мордехая и искореню ваш народ, – тирли дирли, дирли дурли, опа-ля...

Сворачивает из веревки петлю.

Простак с бубном:

– Ой, Амалек, дер гройсе Амалек!.. Кровь стынет в жилах, слова застревают в горле, бубенцы опадают; перерыв, идн, перерыв: не устанешь – не отдохнешь! Отворяйте погреб, хозяйка, наливайте пива, наполняйте тарелки доверху, уговаривайте поменьше: еврею поесть не запрещается, шпиль-менч с бубенцами должен подкрепиться. Рахмунес, идн, рахмунес! Чтобы мой Аврум этого уже не знал...

...Аврум Шпильман сидел в корчме у кривого Шайке, пил на радостях горькую, закусывал гусиной печенкой – во рту таяло, и все вокруг знали, что у него под утро родился сын. И

какой сын! А на соседней лавке сидел Мотке-портной из неблизкого местечка, тоже пил и тоже закусывал печенкой, ибо у него в то утро родилась дочка.

Глубокие снега. Великие грязи. Жирные перегнои. Реки без дна и небеса без отклика. Корчма стояла на пересечении пушного пути с янтарным, на битой тропе из варяг в греки, из германцев в монголы, от европейских кладезей науки, риторов и грамматиков, схоластов и геометров, через тундряные нехоженные мерзлоты, где реки текут в иную сторону, к полуночным, безбуквенным пока народам, ленивым и сонливым, которые ели и плодились звериным образом. Стояла корчма и на незримой черте, не проявленной на карте, без учета незыблемых имперских границ; по одну сторону той черты добавляли в гефилте-фиш побольше сахара, а по другую – побольше соли и перца; по одну сторону фаршировали и варили шуку целиком, разделявая затем на куски, а по другую сначала резали и начиняли, а уж потом варили, дабы почтить субботу рыбным блюдом, – и горе той хозяйке, что вторгалась со своей шукой в зарубежную географию.

Сходил к корчме разнovidный люд с равнин и горных высот: степной с лесным, городской с сельским, дикий и одомашненный. Натеснились, надышали, накурили сверх меры. Пили – шумели – веселели, а кто не веселел, тот тратил без пользы пропойную денежку. Взыграло сердце у Аврума и вскричал он во все уши:

– Сын мой – что-то особенное! Нет и не будет на свете умнее!..

Вскричал в ответ Мотке-портной:

– Дочь моя – нет и не будет краше!..

Людно в корчме. Гулко от голосов. И сказал корчмарь Шайке, как встал на цыпочки и заглянул в будущее:

– Прибавил муки – прибавь воды... У тебя сын, у него дочь – вот вам и пара.

– А что? – согласились охмелевшие отцы. – Таки породнимся!

И обнялись. И поклялись при свидетелях...

Прошли годы. И прошли месяцы. Человек склонен к скорому забвению, а потому Аврум Шпильман не помышлял о последствиях, пробавляясь кишечным промыслом для изготовления гефилте-кишкес, чтобы заботливые хозяйки наталкивали туда тертый картофель, гусиный жир, лук с чесноком, черный перец, муку и яйца. Голосом тих, натурой упрям, Аврум говорил мало, чтобы не сказать лишнего, что знал, сохранял при себе, чего не знал, честно говорил: «Не знаю». Кавун с тыквой в огороде, подсолнух с мальвой в палисаде, махотки чередой на плетне. В один из дней подкатила телега со стороны восхода – не разглядеть седоков, слез возле дома Мотке-портной из неблизкого местечка:

– Где наш жених? О котором уговаривались.

И девицу показал – косая, хромая, короткопалая, губы обкусаны, пряди посечены, на щеке родинка с целковый, на родинке приметная волосинка. Словно хлеб подсохлый, не спрыснутый колодезной водой, и глаза к полу – как отталкиваемая, которую некому приблизить.

– Нет! – вскричала жена Шпильмана. – Несовместительно!.. – И завалилась в пыль посреди улицы: – Умру – не отдам ребенка! Златокудрого! Чистотелого! Без единой изъязвинки! А эта – косая, кривая, беспалая, похужеть некуда, а что у нее под платьем – еще посмотреть!..

Крики. Слезы. Толки на всю округу. Шепоток по домам к радости пересмешников: «Отчего невеста охромела?» – «Споткнулась о соломинку». – «Отчего оглохла?» – «Муха чихнула в ухо». – «С чего окосела?» – «Комар сел на глаз...» Жена Шпильмана ослабла с горя, так ослабла, что встать не могла, не могла сесть, но всё видела при этом, всё слышала, всеми командовала: «Рахмунес, идн, рахмунес!..»

Пошли к ребе. Уговор был? Был. Клятва была? Была. Повод к несогласию есть? Повода к несогласию нет. Надо женить, сказал ребе. Через год на второй. Может, к тому времени невеста выправится, похорошеет – не в красоте счастье...

Прошел год, подступил второй – Аврум Шпильман сидел в баньке над речкой, курил спирт из заквашенного хлеба, накручивал на палец золотистую пейсу. А вокруг обитали лица злокозненной нации, по прежним узаконениям нетерпимые, благоденствующие отныне «под благословенною Ея державою» после раздела шляхетской вольницы. А по дорогам уже катил тайный советник Плющевский-Плющик с прочими сопутствующими чинами для досмотра новоприобретенных земель, дабы прививать добро принуждением, чинить за своеволие суд и расправу. А по местечку уже гулял канцелярист Шпендорчук в мундире акцизного для искоренения запретных торгов и промыслов; доблестный инвалид на деревянной ноге – исподнее из бумазейной ткани – лупил палками по барабанной коже к уведомлению обывателей; пожарный обоз застыл наготове – охлаждать из брандспойтов недозволенные страсти; урядник с шашкой встал столбом на рыночной площади – кулаком озадачивать без жалости, чтобы народ трепетал в строгости-повиновении. Но Шпильман ничего этого не знал, у Шпильмана приближалась свадьба – не напасешься, а потому он сидел в баньке и курил спирт, который горел синим пламенем, если его, конечно, поджигали.

Ехал мимо казак на коне, душу ублажал пением к одолению пути: «Как на каждой волосяночке по горячий по слезиночке...» Унюхал влекущие запахи из баньки, скомандовал: «Стой стоймя!», спросил в голос:

– Не поблазнилось ли?... Однако не поблазнилось. Жид, а жид, отлей на пробу! Горилочки-водочки по самые глоточки.

Хлебнул из ковшика, ухнул, ахнул, подбоchenился:

– Ну, с кем на перепивание?..

Хлебнул еще, утерся рукавом и поскакал на любовную баталию – чуб на ветру:

Не вари кашу крутую – вари жиденькую,  
Не люби девку сухую – люби сытенькую...

Шли роты с примкнутыми штыками на прорыв обороны. Катил малый чин в крытой фуре – сапоги под смазью, держал надзор за денежным ящиком, припоминая субреточку на привале: «Уложи меня, неуложенного. Обласкай меня, необласканного...» Сунул голову из фуры, склонил нюх к пахучим соблазнам:

– Воскресения – они зачем? Не секта ли шалопутов, оргии творящая?..

Вскричал в скорой догадливости:

– Жид сей! Умыслив деяние... Которое непопустительно... Плесни от широты сердца, чтоб жизнь пошла ахальная!

Высосал ковшик до дна: «Одномоментно, други, одномоментно!», высосал другой: «Паче чаяния!», выдул изо рта огневой факел и покатил далее на сатисфакцию, дабы истрепать врага до излишней крайности. Сидел ровно, глядел зорко, вопрошал по-читанному встречные пространства:

– Оборону от клопов держали?..

Канцелярист Шпендорчук, притомившись, восседал у старосты за столом, отстегнув у мундира верхнюю пуговку, перехватывал до обеда глазунью из дюжины яиц, не оставлял без внимания сливовицу, употевал от чая с черешневым вареньем при заполнении начальственной паузы, вёл доверительные беседы:

– Которые народы. Послушания не приемлют. За теми глаз да глаз...

Жена прибежала в баньку, сообщила шепотом: «Ой вей, Аврум, на подходе кутузка – каторга – кандалы – Сибирь!..» Но Шпильмана не легко испугать. Шпильман не всегда знал, что ему надо, нутром угадывая, чего не надо, и этого было достаточно для уклонения от невзгод. Он не желал в Сибирь, ни в коем случае, а потому подкрутил пейсу, вышиб затычку у бочки и спустил спирт в реку по скрытому протоку, избежав кутузки-каторги-кандалов.

Удача от неудачи – не всякому доступно.

А в реке на отмели стояли коровы. У коров – полуденный водопой. Пастух дудел в сопелку из бузины, стадо хлебало пьяную воду, не могло нахлебаться – и закружились тугодумные головы, пробудились из дремы женские потребности, побежали гурьбой к быку, чтобы покрыл немедля. А бык был, что за бык! – страшнее страшного: в силе, славе и могучей дикости. Бык поглядел – бегут на него дойные коровы, словно бзык напал, мычат томно от взыгравших вожделений: хвост задран, глаз в дурной пелене, сосцы торчком, как надерганные, вымя налитое, неподъемное, шлепает наотмашь по крутым бокам. Бык перепугался: одному не управиться – затопчут, и поскакал прочь, вскидывая ноги, словно теленок на лугу. Углядел урядник в своем остоленении, что скачет на него свирепый бугай, набычив рога, и припустил дробным поскаком, топая казенными сапогами, шашкой выписывая каракули по пыльному тракту. Бык за урядником, коровы за быком, пастух с дудочкой за коровами...

Шел к рынку увертливый Шмуль, не брезговавший недозволенными гешефтами, видит – бежит на него урядник с шашкой на боку, и помчался от него во всю прыть, чтобы не попасть в блошиную каталажку, ибо случалось подобное, и не однажды. Урядник за Шмулем, бык за урядником, коровы за быком, пастух за коровами...

Шагал по улице Янкеле-бедолага, задолжавший всем и каждому, смотрит – бежит на него Шмуль, которому не вернул две полушки с прошлого лета, и не вернет, наверное, никогда. Шмуль за Янкеле, урядник за Шмулем, бык за урядником, коровы за быком, пастух за коровами...

Стояла у ворот теща Янкеле, въедливая старуха, которую он грозился истолочь, видит – бежит на нее зять, чтобы исполнить намерение, и запрыгала по улице – откуда что взялось. Янкеле за тещей, Шмуль за Янкеле, урядник за Шмулем, бык за урядником, коровы за быком, пастух за коровами...

Вышел из дома канцелярист Шпендорчук на акцизную службу-старание, дабы продлить оную с похвалой, видит – толпа, пыль до небес: все бегут и все на него. Измена. Злодейства. Бунт на скопищах. Еврейский бунт, бессмысленный и беспощадный, – переняли, пархатые! Шпендорчук вприпрыжку от тещи, что оскорбительно и позорно. Теща вприпрыжку от Янкеле, что натужно и огорчительно. Янкеле впритруску от Шмуля. Шмуль рысцой от урядника. Урядник скоком от быка. Бык галопом от коров. Коровы иноходью от пастуха. И убежали за горизонт, что удивительно и неправдоподобно...

Вот картина, достойная изумления, укоризны и порицания!

А Шпильман сидел в баньке над речкой, накручивал пейсу на палец и курил новые запасы спирта, который пылал жарким пламенем в человеческой утробе, от чего возгорались сердца, пробуждался аппетит, в припляс шли ноги.

Чем же оно закончилось? Тем оно и закончилось. Хупу поставили в пятнадцатый день месяца Ав: нет лучшего дня для соединения сердец. На свадьбу явились мастеровые – жестянщик Блехер, литейщик Гиссер, столяр Тышлер, Фарфурник с Гуральником, Ткач с Пекарем. Веселил гостей Бенья Пукер, завиральных дел мастер, – как без него? «Нынче бульба, завтра бульба. В хлебе бульба, в рыбе – бульба...» Душу надрывал горбатый печальник Фиделе – стоном на скрипичной струне, так надрывал, что все изошли плачем, будто на похоронах. Пришлые клезмеры ублажали сердца: кларнет с трубой, флейта с цимбалами, барабан с тарелками: «Бам-бада-дам, бада-тири-дам...» – даже старая Цирля прошла с рукоплесканием в свои завосемьдесят, стряхнув с плеч несчитанные зимы. Подали на стол кутель. Форшмак. Фаршированную щуку. Ели ее со жгучим хреном, проливая радостные слезы, напевали от избытка чувств, не опасаясь подавиться рыбной косточкой, кричали молодым: «Здоровье на вашу голову!», а во главе стола сидел Фишель, жених-загляденье, рядом невеста – не на что посмотреть. Выпили, отплясали свое, и наутро молодоженов отослали в город, с глаз долой, чтобы над ними не потешались. А то, не дай Господь, нарожают страшилищ...

Он любил ее до самой смерти, не мог наглядеться – желанную к ночи и желанную под утро, хорошевшую безмерно в минуты прикосновений. От радости голубели ее глаза, опускались посеченные пряди, привядшие губы расцветали в неуголенном зове, спелые, влажные, наливные, в несмелом раскрытии женских сокровенностей, а она – в благодарность за подаренные ликования – выносила мужу семь сыновей, Шпильмана за Шпильманом, красавца за красавцем, зачатых в полноте ощущений. Семь сыновей – семь свечей: Фишель привез их к отцу с матерью, и всё местечко сбежалось взглянуть на Божий подарок. К чужой радости не прилепишься, в чужое счастье не протиснешься, – такие сыновья, таких не бывает на свете! Их даже хотели украсть, одного хотя бы, самого крохотного, самого приглядного, с золотистыми локонами, в бархатной ермолке, звали его Гершеле, Гершеле-мизинчик, – к этому приставили охрану.

– Береги ноги, Гершеле, – благословил Аврум Шпильман, и слеза пролилась в бороду. – Тебе далеко идти...

...Гершеле, ай, Гершеле! Ростом высок, телом силен, духом покоен, – всё, что ни делал Гершеле, он делал замечательно. Резал сосновые донца, гнул дубовые клёпки-боковины, стягивал обручами, забивал затычки в сливные отверстия, выставлял на загляденье бочонки под брагу, ушаты под воду, кадушки под муку, крупу, моченую ягоду, бочки для засолки грибов, огурцов и капусты. Вставал на пороге крохотный Шимеле, руки заложив за спину, высвеченный золотоволосым дождем до плеч, говорил с надеждой:

– Мешаю работать...

Гершеле откладывал инструмент, отодвигал в сторону донца с обручами; они усаживались на смолистые стружки, и отец спрашивал сына:

– Про кого теперь?

– Про гуся, – просил Шимеле.

– Лук репчатый, гусь лапчатый, червь кольчатый, а человек крапчатый... – начал бы Гершеле таким манером, если бы знал русский язык, но начинал он иначе и на идиш: – Жил на свете гусь, у которого была голова самого большого гусиного размера.

– У тебя тоже большая, – говорил Шимеле и приваливался к отцу под бочок, опухая молочным запахом.

– У меня тоже, – соглашался Гершеле. – Гусь очень гордился своей головой и носил фуражку с красным околышем, как у господина урядника.

– И у тебя, как у урядника, – снова говорил Шимеле и вздыхал от избытка чувств.

– Ну уж нет! У меня фуражка, как у скрипача на крыше, – мог бы возразить Гершеле, но время к тому не подошло, а потому он продолжал рассказ и продолжал его так: – Надо сказать тебе, Шимеле, что это была еврейская улица, и дома на ней были еврейские, еврейские запахи, еврейский мусор, еврейское небо над головой, а по еврейскому двору ходили еврейские куры с утками, цыплята с гусятами, клевали еврейский корм. Жил гусь и жил, хвастался своей фуражкой самого большого размера, а индюки надувались от зависти и буркали с небрежением: «Где украл – где украл?..» Это были заморские индюки, которые не считали себя евреями, а оттого важничали сверх меры: «Мы по-вашему не едим. По-вашему не пьем. Так себя не ведем, а ведем себя не так. У нас и носы другие, и лапы, и хвосты не здешние. Подкормимся – полетим дальше». – «Куда-куда?..» – волновались куры, замирая от восторга. «Вер вейст! – отвечали индюки. – Мы знаем?..» Так они жили на том дворе, так проходили дни с неделями, и вдруг гусь стал замечать: фуражка наползает на лоб, затем на глаза, и не разглядеть из-под козырька, где миска с кормом, чем занимаются куры с утками, как обогнуть яму, которая на пути. Понял гусь – голова стала мельчать, и ежели не принять срочные меры, она обратится в сливу, орех, а там и в усохшую горошину, что отвратительно и содержит противоречия, несовместимые с житейским опытом.

– Что же теперь делать?.. – в волнении замирал Шимеле.

– Можно надеть крохотную шапчонку самого малого гусяного размера, но это обидно и нестерпимо. Есть, конечно, и другой вариант.

Гершеле замолкал и молчал долго.

– Говори, – просил Шимеле. – А то засну.

– Чтобы наполнить живот, надо побольше есть. Чтобы наполнить голову, надо почаще думать.

– Я думаю, – сообщал Шимеле. – Сейчас, например, я думаю о том, что делать гусю. И голова моя растет.

– Твоя голова растет – это так. А гусь не знал, о чем подумать, потому что кормили его досыта и думать было незачем. Но это был гусь с еврейского двора, склонный к размышлениям, а потому он стал ходить взад-вперед, крылья заложив за спину: «Задумаюсь-ка я вот о чем: отчего у гуся нет копыт? И рогов тоже нет...» Не думается никак во дворе – гусыни отвлекают, гусыни-глупыни, которые без конца гогочут: «Что на ужин, что на ужин?..» Залез в сарай, темно, никого нет: не думается в сарае о бескопытных и о копытных тоже не думается – спать хочется. Пошел за ворота в густые травяные заросли: думается с трудом и не о том, потому что страшно. А головы совсем уж не видно: гуляет по двору туловище на бескопытных ногах, никто не знает, что делается у гуся под фуражкой, и даже презренные лягушки оквакивают его из-под бочки с водой: «Квак смешно, квак смешно...»

– Дальше что? – спрашивал Шимеле.

– Дальше что? – спрашивал гусь со двора, заглядывая в мастерскую.

– Еще не знаю, – сокрушался Гершеле, в котором иссякал ручеек вымысла.

– Хочешь обидеть? – шипел гусь и тянул шею, чтобы ущипнуть.

– Да ты что!

– Тогда придумай. Найди выход из положения, которое прискорбно и непочтительно.

– Почему я?

– Ты рассказываешь – тебе и находить.

И вытаптывал с угрозой «бройгез-танц» – лапчатый танец обиды.

– Гершеле, – кричала через плетень свадебная кухарка. – Гусака не уступишь? Откормить – и на стол!

– На стол – это зачем?..

– Печенка от него хороша. Жаркое. Шмальц со шкварками...

Шимеле с ужасом глядел на отца. Гершеле с ужасом глядел на кухарку. Гусь прятал голову под крыло – каково это услышать? – и поджимал ногу, словно морозом ожгло пятку на снегу.

– Нет, – говорил Гершеле. – Гусака не уступим.

А тот вытаптывал на радостях «шолем-танц» – танец примирения...

Путь от зачатия известен всякому. Когда минуют назначенные сроки, роженица выпускает девяносто девять вздохов, девяносто девять криков, и лишь сотый из них – крик новой жизни. Жила в местечке Хая-повитуха, которая заплетала ногу за ногу, всё роняла, про всё забывала, путала дорогу к роженице, отчего вечно запаздывала и приходила после родов, а то и назавтра. Это оберегало ее от многих неприятностей и это ее кормило: появившись растеряха вовремя, кто знает, что бы случилось с младенцем, но женщины, пообвыкнув, не ждали, пока она придет, завяжет пупок, и с молчаливого согласия исправно платили за вызов. Да и то уж...

...проще всего обвинять Хаю-повитуху, но не мешало бы выслушать и другую сторону. У Хаи был муж, Пици Узенький, Пици-трубочист – тощий, на еду вместительный, который ходил в город на промысел, ибо пролезал в любой дымоход на крыше, если, конечно, не было в нем заслонки. Побывав однажды на свадьбе и исправно поработав за столом, Пици округлил животик и под утро застрял надолго в трубе. Печь не топили. Борщ не варили. Трубочиста

вытаскивали всем народом, заодно с полицией и пожарной частью, но тело шло туго, голова торчала наружу, озирая окрестности, живот опадал от голода, Пици бормотал горестно в ожидании вызволения: «Кому покой, а кому скитание... Кому унижение, а кому возвышение...» Накостыляли по шее, надавали тумачков на дорогу, не велели появляться в их краях, и домой он вернулся отошавшим, без единой копейки, услышав с порога плач очередного младенца, который разевал рот для принятия пищи...

Дети умножают радость и порождают заботы. Хая-повитуха рожала не реже других в местечке и тоже обходилась без посторонней помощи:

– Чтобы было кого кормить.

И всех это устраивало...

Известно не понаслышке: рабби Ханина и рабби Ошайя в канун субботы изучали книгу Брешит; посредством ее сотворили трехлетнего теленка, им же затем и поужинали. В последующие времена этого уже не умели; с неба не опускалось пропитание, достаемое без забот, возрастали повинности к оснащению войска против безбожного корсиканца, и когда Бася отвыдыхала положенные вздохи, Гершеле призадумался: где бы ему подработать, дабы отринуть беспокойство о прокормлении? Ремесло Гершеле не кормило, ремесло никого не кормило: бочки усыхали, обручи опадали, донца выпукивались сами собой, – кому нужны бочонки с кадушками, ежели нечем их наполнить?..

– Бася, – повторил Гершеле заученное с детства: – «Как снится голодному, будто он ест... Как снится жаждущему, будто он пьет...»

Бася понимала мужа с полуслова:

– Гершеле, сердце мое! Сходи к старой Цирле. Она подскажет.

Жена сказала – Гершеле не послушался. Цирля сидела у раскрытого окна, пекла пупырчатые оладьи и угощала каждого, кто проходил мимо. Старая Цирля похоронила всех одногодков в местечке и жила дальше, отяжелевшая телом. Думала она недолго:

– Главное не то, что из кармана, а то, что в карман. Утаенное умирает. Неразгаданное не рождается. Людям надо подсказать их желания.

– Желания?

– Желания.

– Они и без нас их знают.

– Они не знают, а потому томятся в сомнениях. Подсказавший желание – преуспееет.

И накормила его оладьями.

Назавтра на рыночной площади появилась вывеска «Мы знаем, чего ты желаешь. Зайди и убедись».

Ходили вокруг евреи под грузом огорчений, малым остатком давнего рассеяния, комковатые и клочковатые, сучковатые и дуплистые: видно было с расстояния, что с питанием у них плохо, видно было по иным, что с питанием у тех замечательно. Народ по округе обеднел, истратился, каждый платил другому водицей из колодца, и то не доверху; жизнь размазывалась просяной кашей по тарелке – лизнуть да понюхать. Взглядывали на небо в смутных жалобах: «Дал жизнь – дай парносе!» Косились на заманчивую вывеску, приговаривали уважительно:

– Этот Гершеле! Что-то особенное...

Но дверь открыть опасались, ибо были не при деньгах.

Элькин муж – хромой бедолага, не знающий родства – промышлял по соседству редким промыслом. Элькин муж обучал мычанию окрестных коров с телятами, каждого иным мыком, коротко или протяжно, голосисто или задавленно, чтобы хозяева отличали на расстоянии. Дело шло ходко. Уже объявился клиент, который копил деньги на козу, и Элькин муж подумывал о том, как бы расширить коммерцию.

– Это прибыльно? – интересовались многие.



– Они еще спрашивают... – отвечал он, драный, латаный, в лоскутной рубаше, и мычал с отчаяния, как некормленная корова.

Ему нечего было терять, а потому Элькин муж решился на отчаянный поступок. Первым вошел к Гершеле, затворил за собой дверь, вышел через немалое время – сияет:

– А гройсе менч!.. Он сказал, что желание мое – оставить след памяти. Для тех, которые придут за нами.

– Это так?.. – усомнились малoverы. – Такое у тебя желание?

– Именно! – просветился изнутри продавец мычаний. – Но я об этом не догадывался.

– Сколько же это стоило?

– Первое желание бесплатно.

– Бесплатно? Можно попробовать.

И установилась очередь. И каждому Гершеле сообщал единственное, выстраданное, запрятанное в глубинах:

– Желание твое – не ведать утраты...

– Не испробовать вкуса зла...

– Не преступить за пределы дозволенного...

– Гершеле... – восклицали они на выходе и причмокивали от восторга. – Этот Гершеле! То, что мне надо...

Вечером Гершеле пришел домой, сказал уныло:

– Сапог подметки не стоит... Каждый заходил по первому разу и каждому бесплатно. Даже на завтра есть желающие.

– Гершеле, душа моя! – отозвалась Бася. – Сделай так: первое желание за деньги, второе без оплаты.

Назавтра собрались евреи перед заманчивой вывеской, но входить остерегались, дабы не платить за первый визит. Зашел только Элькин муж, ибо сообразил, что для него это второе посещение, которое снова бесплатно. Пробыл у Гершеле немалое время, вышел – гордо оглядел народ:

– Дополнительное мое желание – воспарить духом и вознестись в понимании.

– А-ах!.. – вздохнули обделенные. – Такое оно у тебя?

– Такое, конечно, такое! Заходите. Каждому за грош.

– Откуда у нас грош?

– Он дает в долг.

– В долг? Стоит попробовать...

И снова установилась очередь. Чтобы Гершеле сообщал каждому его затаенную мечту, ставшую наконец-то явной:

– Осилить горы премудрости...

– Возвыситься по степеням совершенств...

– Покоя в непокое от врагов – такое твое желание...

Ночью Гершеле вернулся домой, сказал в удручении:

– Народу столько – некогда было поесть. А в кассе ни гроша.

– Гершеле, радость моя, – предложила Бася. – Подожди до утра. Уж за третье желание им придется заплатить.

Удача глаза дерет. Всякому охота войти в прибыльное дело, и наутро объявились товарищества на паях, голоштанник на голоштаннике, два мертвеца пустились в пляс – «Шлифер и Шляйфер», «Пельцер и Мельцер», «Махер и Шерешевский», «Гурништ и Ко». Рынок расцветился под утро призывными вывесками: «Мы тоже знаем, чего ты желаешь!», «Чтобы другие так знали, как мы это знаем!», «Вот, наполнилось желание твое: зайди и восхитись!» И опечаленный Гершеле побрел к старой Цирле:

– Для чего зубы, когда нечего жевать? Для чего горло, когда нечего глотать?..

Она выслушала его рассказ, пожевала бесцветными губами, сказала печально:

– Я обещала преуспевание, и ты этого добился. По домам только и разговору о Гершеле, которому стоит подражать. Но доходов я тебе не обещала, – да и откуда тут доходы?

– Другого занятия нет?

– Есть и другое. Скупать позабытые истины, которые не в цене. Дождаться, когда объявится спрос, и выложить на прилавок, с коробом пройти по дорогам. Позабытые истины в завлекающей упаковке...

Ночью Бася жарко зашептала на ухо, не голос – шелк с бархатом:

– Не грусти, Гершеле, свет мой в окошке, переживем и это! Вот я разгадаю твои желания, самые сокровенные: досадно не будет.

– Ты это умеешь?

– Ну конечно! Первое желание – без оплаты. Второе – в долг. Третье – до ранних петухов. Мальчика называли Шолем...

...душа человека, что малый колокольчик. У одного глухая, надтреснутая, попользованная без смысла – стук-бряк, у другого звонкая, распевная, взлетающая на верха – дзынь-зынь. Шолему досталась легкая, залиvistая душа – бубенчиком прозвенеть по жизни, но сквозь неодолимое его стеснение, сумрачную несговорчивость прорывалось наружу унылое бряк-бряк.

Это был нескладный подросток с блондинистыми пейсами, утонувший в зыбких ощущениях, – пугливо взъерошенный зверек с обкусанными ногтями, который с детства тянул калечную ногу, что тоже не добавляло уверенности. Шолем не любил заглядывать в зеркало, в водную стоячую гладь, ибо выпали ему на долю смытые, непроработанные черты лица, как недодержанные в небесном проявителе, без намека на складку возле носа, морщинку на лбу, без надежды на решительный характер, словно уготовано ему от рождения строить и разрушать, разрушать и строить без видимых результатов. Шолем опасался не боли – насмешки, разоблачения, и оттого вечно ссорился с приятелями, а бабушка Зельда держала его сторону, даже если он был неправ, бабушка не укоряла внука, хоть и было за что.

Обстоятельства копили обиды. Обиды растрavляли раны и подсасывали укоризнами. Шолем забивался в угол сарая, раздражительный, неуживчивый, догрызающий остатки ногтей, бормотал жалобы с уговорами, упрашивал неведомо кого, чтобы расселась земля, пожрала насмешников, и если бабушка отыскивала его, то отпаивала теплым молоком, укладывала в постель, подтыкала одеяло под бочок:

– Закрой глаза, Шолем. Заспи обиду.

Садилась на скамеечку, открывала молитвенник, читала по складам, а мальчик ее слушал. На ветхих страницах было помечено карандашом: «Здесь вздыхают», «Здесь огорчаются», «Здесь охают и проливают слезы».

– А где же радуются? – спрашивал Шолем, но у нее не было ответа.

Бабушка Зельда говорила плохо, зато молчала она замечательно, молчанием утешая внука, утишая гнев-удручение. Шолем терзался благодарностью, не способный отплатить за ласку, но бабушка угадывала его томления и говорила так:

– Ничего, милый, не надо. Сохрани для детей своих. Отдашь то, что получил от меня, и мы в расчете. Только одаривай теплыми руками – не одаривай холодными.

Когда бабушка слегла в постель, изгрызанная болезнями, Шолем затосковал. Так тосковал, что не мог есть, не мог пить и исхудал без меры. Сидел возле ее кровати, твердил упрямо:

– Не уходи... Не пущу... Тебе еще рано...

Пришла беда под крышу. Потянулись тоскливые дни – стаями отлетных птиц. Огонек задышался в глубинах воскового стакана, опускаясь на дно не по своей воле, метался горячечно, припадал, угасая: «Воздуху! – молил. – Воздуху!...» Шолем подрезал верхние истончив-

шиеся стенки, и огонь снова возгорался покойным недвижным лепестком – словно больной, у которого спадал жар, погружался в долгий освежающий сон. Но бабушке Зельде нечем было помочь, бабушка завершала пребывание на земле и делала это так: глаза глядели, губы шевелились, а тело по частям становилось неживым. Первыми умерли ноги и остались лежать под одеялом, как иссохшие плети на огородной гряде. Затем умерли руки, и лишь в слабом шевелении пальцев еще проглядывало желание двигаться. Веко опало, чтобы не подняться. Шея потеряла подвижность. Свет отемнел в глазу. Голова не поворачивалась на подушке, чувствуя на языке вкус смерти, желчи подобный. Бабушка Зельда отмирала по частям, и Шолем оплакал каждую из них.

Ручьями утекли снега. Пронзительно заголубело небо. Облака поплыли в торжественном шествии, промытые, пушистые, взбитые заботливой рукой. Прогретая земля исходила паром, жаждающая скорого осеменения. Мыши полезли из распечатанных с зимы нор – тощие, оголодавшие, настырные и увертливые. Бабушка шепнула перед уходом:

– Шолем, я тебя не оставляю...

Ее укутали в саван, белизна которого указывала на отсутствие желаний, и понесли хоронить. По весне. При рождении молодого месяца, манившего обещаниями. Ребе сказал так:

– Пока свеча горит...

А больше ничего не сказал.

Пришли соседи – проводить бабушку Зельду, исцеленную от недугов, набежали любопытные, и Шолем затосковал посреди посторонних от неравенства в страданиях. Когда бабушку укладывали на ложе и покрывали землей, он ощутил остро, болезненно, надрезом по плоти, как одним человеком на свете – из тех, кто любил его – стало меньше. «Могла бы еще пожить...» – укорил без звука и поплыл по могучей, полноводной реке печали, что обтекала вокруг кладбища, оттоками петляла посреди надгробий, чтобы прибить к невидному камню, словно бабушкина любовь к нему, неприсыпанная землей, сохранялась на этом месте. «И умерла и погребена здесь...»

Шолем часто навещался к могиле, жаловался на сверстников, а бабушка жалела его и утешала из иного места пребывания, где темным-темно для тела и светлым-светло для души, если в это, конечно, поверить. Враждующих не хоронили рядом, грешника не погребали возле праведника, – у бабушки Зельды врагов не было, она не грешила чрезмерно, а потому пребывала среди достойных, неподалеку от наставника, который родился с кипой на голове. Теперь бабушка не говорила ни слова, но молчала по-прежнему замечательно. Стоило только прислушаться – она отзывалась Шолему дуновением ветра, стрекотом кузнечика, духовитостью трав, проросших на могиле, как отпаивала теплым молоком, подтыкала под бочок одеяло, вздыхала неслышно: «Уложи горе под подушку, Шолем. Переночуй с ним, и станет привычной...»

Сказано – не доказано: раз в сотню лет является на небе мечтательная звезда, сошедшая с путей согласия, вводит в сомнение кормчих, путает карты с исчислениями, отчего корабли сбиваются с курса, бьются о рифы, уходят под воду на вечное погребение. Раз в десять лет проходит стороной блуждающий странник, путает мысли и понятия, надежды перемешивает с сожалениями.

Ничто не появляется из ничего. Было лето. Полуденный его припек под тугое гудение шмеля. К прогретому камню прикасалась спина. Слеза остывала, опадая. Суматошились муравьи, вспархивали стрекозы, прорастала на усыхание трава. Молчанием утешала бабушка Зельда в паутинной его тоске, и в полудреме уединения, в радужном переливе явлено было Шолему видение...

Из ниоткуда, из обжигающего глаз света, в сквозистой тени куста соткался некрупный старик – угольной, жаром обожженной головешкой, в одеждах диковинного покроя, с посохом в руке, опахнул запахами немытой кожи и застарелой дорожной пыли. Лицо забурело жженым кирпичом. Борода сплелась с усами, опадая до пояса. Заросли лохматых бровей перекрыли

глаза. Ноги его были коротки, до того коротки, словно стоптались за долгую дорогу. Тяжеленная плита из темного гранита покрывала спину, нависала над головой и придавливала к земле, пригнув натруженную шею, будто разгребся человек из могилы, приподнял камень и отправился в путешествие по известной ему причине. Плиту прожгло солнцем, буквы запеклись на надписи – не углядеть, лишь «пей» и «нун» поддавались внимательному рассмотрению: «Здесь погребен...» Старик поворачивал голову вбок, к синеве высот, пальцем указывал на пригорок рядом с бабушкой Зельдой, делал плечом движение, чтобы скинуть ношу, – голос раздался, как громыхнуло грозovým облаком на подходе: «Не время... Еще не время!» Вздохнул, переступил с ноги на ногу и покорно побрел дальше, опустив голову, стаптывая ноги, растворяясь в полуденном мареве на краю кладбища. Был – не был. Пришел и прошел. След и тень...

– Кто это?

Мертвым доподлинно известно, что происходит на земле, – чтобы живые так знали! Бабушка отозвалась перешептыванием листвы над головой – улови и прими:

– Странствующий печальник...

– Пойти следом?

– Иди, Шолем...

Плоды отрываются от ветвей для обретения самих себя. Звезды снимаются с позиций. Человек – с обжитого пристанища. Заблуждения – единственное, что следует припомнить и увязать в дорогу, чтобы не споткнуться о прежний пенек.

– Если потеряюсь, разыщи меня.

– Разыщу, Шолем...

Шли без дорожных припасов. Кормились по случаю. Воду пили, хлеб ели, варево из капустного листа и затерялись среди беспечных пространств, беззащитные перед невзгодами. Бабушка Зельда вела внука – без пути путь; на всякой развилке Шолем вставал, прислушивался и непременно получал ответ.

– Направо, Шолем... – отзывалась бабушка каплями рассветной росы, и они отправлялись по правой тропке, углядывая бедствия, народами претерпеваемые. – Теперь, Шолем, налево...

Прошли край горьких дождей. Зноем опаленные посевы. Пересекли леса, природой насажденные, илистые реки и гиблые болота. Обошли стороной земли с немирными кавказцами, где жизнь пахла смертью, колодцы были засыпаны, хлеба выжжены на корню. К ночи подступал дарованный покой, отдых натруженным ногам, чистая звезда над головой, но с рассветом они снова шагали дальше – от мезузы к мезузе, от миньяна к миньяну, от погребения к погребению. Повсюду теснились верующие и сыны верующих, разрозненные меж народов, былинки на волне водоворотов, приткнутые к очередной заводи; повсюду покоились во прахе, присыпанные случайной землей. Выискивали место среди могил, чтобы скинуть ношу со спины, вздохнуть с облегчением, но голос погромыхивал поверху: «Еще не время...»

Немногие увязывались за ними из окрестных местечек, немногие из немногих, и отставали у крайних домов. Чего хотели, того не могли, что могли, о том не помышляли.

– Откуда идут евреи?

– Оттуда, – отвечал Шолем.

– Куда направляются евреи?

– Туда.

Слепому от рождения что известно? Луна для него темна, небо черно, звезды – гвоздиками на неведомом куполе. Старик с плитой помнил, как небо лучилось синевой, луна серебрила озерные воды, звезды перемигивались в ночи, чтобы померкнуть к утру, но видеть не желал из-под нависших бровей – слепой глазами и зрячий душой. Жизнь установилась с разделением на звуки: тьма с пением птиц – она же день, тьма без пения – ночь. На привале, под

переливы пернатых над головой, беседовал с сыновьями из прошлой жизни, наставляя на путь веры; без переливов, в ночи, выслушивал жену, которая нашептывала ему потайные слова.

Сбегались отовсюду падучие болваны, притворно бесноватые, слюнявые и гунявые, босые и с колтунами, хихикали, плевали вослед, грозили костлявым кулаком, плиту на спине принимая за вериги, старика – за юродивого, сгоня чужаков с места своего кормления. Рассветы опадали цветными лепестками, стык к стыку, обозначая иные пространства. Дни обращались в ночи, а ночи в дни. Шолем сбивал ноги в кровь, прикладывая к ранам траву-подорожник; складка проглядывала на лбу, проявляя характер, которого не доставало. Через годы, в полуночном мире, в мандариновых его краях, бабушка пробилась к внуку – шуршанием полевой мыши в сникшей листве:

– Куда ты забрался? Так далеко мне не дошептаться...

– На пути, – объяснил. – К пристанищу.

– Воротись, Шолем. Кто же будет следить за могилами?..

К вечеру вышли на кладбище, проплутали меж рядов, углядели нескладного подростка возле свежего погребения – сумрачным, взъерошенным зверьком с обкусанными ногтями.

– Кто это? – спросил подросток, глядя на них, и ему отозвалось шелестением травы.

– Пойти следом? – спросил.

Ответа они не разобрали – не для них был ответ.

– Если потеряюсь, разыщи меня...

Ночью старик заговорил на прощание, облекая печаль в слова. Они запутывались в переплетении усов с бородой, но Шолем распутывал их и добирался до смысла:

– ...затворились врата милосердия... Волны страданий накрыли с головой... Три дня и три ночи лежали мы на родных могилах, а перед уходом снимали плиты и уносили в чужие земли, во тьму крошечную. Стража сопровождала до границы и замечала следы наших ног. Монахи шли рядом, уговаривали переменить веру, чтобы остаться на той земле, где некогда нашли утешение, но мы шагали с песнопениями, подбадривая друг друга; музыканты играли радостные мелодии на флейтах, скрипках, барабанах, дабы все вокруг знали: мы не оплакиваем ни одно изгнание, кроме изгнания из Иерусалима...

Замолчал надолго, собираясь с силами. Ощупал в кармане увесистый ключ от дома, сработанный мастером из Кордовы, затем продолжил:

– Ходу оттуда – полтора века. Еще полтора. И еще. Посреди народов вчерашнего дня. Когда откуда-то изгоняют, надо, чтобы куда-нибудь впустили... У тебя свой путь, Шолем.

А почувдилось: «У тебя своя жуть...»

Наутро старик отправился в дорогу с очередным поводырем – живая память, блуждающая тайна под грузом прошлого, которую не терпится искоренить, а бабушка Зельда повела внука домой:

– Направо, Шолем. Теперь налево...

Пришел – не обнаружил себя прежнего, многих не обнаружил в местечке, лишь старая Цирля тащила на плечах, плитой на погребение, сто двадцать неподъемных лет.

Спросила:

– Ты кто?

Отвечил:

– Странствующий печальник.

– Зачем пришел?

– Отыскать пристанище.

Прикинула:

– Тогда так. Имеется в запасе промысел, не всякому под силу. Осилишь?

– Осилю, – сказал Шолем.

– Старого Янкеле схоронили. Который ходил по домам. Передавал дурные известия.

– Не осилю, – сказал Шолем.

– Платят за это поштучно. Из общинной кружки. И платят неплохо: работа тягостная, при слезах. Янкеле тем и кормился, сыновей женил, дочерей выдал замуж, – дурных вестей и на тебя хватит.

– Нет, – повторил Шолем. – Это не по мне.

Сутул. Суховат. Волос золотист. Прошелся по кладбищу из конца в конец, не упустив никого, ознакомился с новыми могилами, посидел в раздумье у невидного камня, в тиши отстоявшегося покоя: «И умерла и погребена здесь...» Написал пару слов, положил лист на холмик, придавил камнем, – от ночной сырости намокла бумага, размылись чернила, буквы протекли к земле, вглубь просочившись для прочтения: «Я вернулся». Река печали иссякла, обратившись в пересохшее русло, но бабушкина любовь теплилась на том же месте.

Поселился в кладбищенской сторожке поближе к ней. Выполол сорняки. Вычистил дорожки. Укрепил завалившиеся камни. Возвел ограду вокруг усопших, чтобы не стали добычей забвения и при нужде заступались за живых.

Женился.

Передал семя свое.

Родил Ушера.

Любовь сына уберег до старости...

...Ушер вошел в жизнь при солнечном касании, когда неспешно розовело за лесом, – верный знак, что вырастет щедр, влюбчив, незлобив, легок на поступь, заливист и голосист: дзынь-зынь. Ушер – зеркальных дел мастер – выполнял работу со старанием: отбирал стекло без изъяна, резал до нужного размера под пение алмаза, раскатывал олово до не приметной тонкости, натирал ртутью; зеркала перенимали светлый взгляд мастера, ясный его облик, а потому приукрашивали всякого, кто к ним приближался, врачевали совесть, настраивали сердца, а к вожделению не склоняли.

Каждый находил утешение в его зеркалах, в озерной их чистоте, даже замшелые запечные старики; каждого манило шагнуть в их глубины, обосноваться в голубоватом покое, чтобы оттуда, из зеркального бытия, взглядывать на мир в благодушии и довольстве. А они стояли на полу, висели на стенах в ожидании покупателя, отражались одно в другом, как сон во сне, ручей в ручье, кружили голову своему создателю – кудряв, крепок, волосом рыжеват, будто немало Ушеров работало в мастерской зеркальщика. Птица залетала ненароком, металась во многих обликах, не находя выхода; к вечеру он и сам запутывался, не в силах отличить явное от мнимого, себя от изображения, – это значило, пора заканчивать работу и возвращаться домой.

– Не дышите на зеркала, – умолял заказчиков. – Не захватывайте руками! Они от этого слепнут...

В один из дней прискакали гайдуки, заломили руки, отвезли к паночке, жизнь проводящей в прелестях, потехах и танцеванье. Вышла к нему в постельных одеждах, коварна и обольстительна, и Ушер потупился, дабы не согрешить в помыслах от злого очарования.

– Видишь мои зеркала?

В углу лежали осколки – великой грудой. Может, она их била, недовольная видом своим, а может, лопались от гневного ее взора.

– Правда ли, что твои зеркала приукрашивают женщин, отчего хорошеют безмерно к приходу мужей?

Ушер кивнул головой.

– Правда ли, что это способствует деторождению?

Снова кивнул.

– Изготовь для меня зеркало вожеления, – повелела паночка, потакая желаниям. – Чтобы подвигало к шалостям Амура. Сделаешь – озолочу. Не сделаешь – сгоню всех со своей земли. И кладбище ваше разорю.

Ушер побежал к равнину:

– Беда, ребе!..

Старый раввин молился всю ночь, а наутро сказал:

– Сделай ей зеркало.

Далее – противоречиво. Далее – многие несообразности, из которых выберем самые достоверные. Рассказывают: паночке полюбились ее отражение в зеркале, толпой пошли воздыхатели с их шалостями, и она оставила местечко в покое. Уверяют: паночка осердилась и приказала распахать кладбище, но когда гайдуки приблизились к могиле наставника, родившегося с кипой на голове, пали их волы, пали лошади, пали бездыханными они сами. Утверждают со слов очевидцев: зеркало отразило нутро паночки, скрытое от всех, ненасытную ее похотливость, отчего обернулась в козлоподобного демона, не отбрасывающего тени, и ускакала в пустыню...

Облако напозло без спешки со стороны кладбища, провисло до спелых подсолнухов, sprysнуло обильную морось на истомившиеся на припеке посеvy. Подсолнухи опустили отяжелевшие головы и увидели человека на тропе, тощего, иссохшего, который лежал ничком, без движения. На нем был драный балахон из мешка, голову укрывала соломенная шляпа с объединенными полями, словно их сжевала коза, ноги в опорках запеклись кровавыми отметинами. Подсолнухи покачивали головами на ветру, как осуждали или печалились, но помочь несчастному не могли, и он пролежал до заката без надежды на снисхождение.

На него наткнулись по случаю, засуматошились, растормошили, омочили водой иссохшие губы. Поднял с усилием голову, задал непростой вопрос:

– Попраны ли надежды?

– Попраны, – ответили. – Но частично.

– Это мы отладим...

Его принесли в крайний дом, и Блюма, жена Ушера, выставила на стол миску крупяного супа, густо заправленного картофелем для основательного насыщения, – бедность диктует вкусы.

Зачерпывал понемногу. Пережевывал не спеша. Насытился, зарозовел, вновь задал вопрос:

– Чудеса случаются?

– Какие у нас чудеса...

– И это поправим.

Поднял глаза к потолку, прикрыл ладонью и запел. Нежданно переливчатым голосом, пробиваясь в высоты высот, жалуясь, тоскуя, восторгаясь и завораживая. Сбегались женщины с ребятишками. Сходились мужчины. Толпились в дверях, протискивались внутрь, заслоняли свет в окошках. Пришла даже старая Циля, одолев с натугой переулоч; даже ребе приоткрыл окно в доме, а младенцы выпустили изо рта материнскую грудь, зачарованные дивными звуками.

Голос устремлялся ввысь, как путь прокладывал, каждого тянул за собой во врата трепета, словно наступила суббота в неурочный день. Дом песней полнился. Радость восходила к небесам. Родник пробивался через завалы под сладкозвучное пение, гул живой воды – через запруды, затапливая печаль, орошая засушливые души, восторгом наполняя сердца, страстным желанием прильнуть к источнику, вознося на такие вершины, которых не помышляли достичь прежде. Пол отдалялся. Крыша раздвигалась. Солнце скакало шаловливым барашком, звезды опадали росной капелью, изумрудами украшая травы. А они переглядывались в изумлении,

удостоившись минутного озарения: где горечь вчерашнего дня? – за горечь принимали жизненные необходимости, оказавшиеся незначительными.

Лица сияли. Чувства обновлялись. Дыхание становилось неслышным. Были ли слова у той песни? Каждому достались свои.

Замолчал, сказал тихо:

– Кому дано – отработай...

И все нехотя опустили на землю. Покрутили головами. Спросили несмело:

– Это чего было?

– Чудо, – ответил. – Обещанное. Плохо – это теперь плохо, а хорошему конца нет.

Усомнились. Переглянулись:

– Проясни.

И он прояснил:

– Жил скрытником. Жил затворником. Наказывал себя за желания. Бил по щекам за недостойные помыслы. Сокращал порции еды в уморении плоти. Пол не подметал, стены не белил. Спал на малом сундуке, свесив во сне ноги. Не слушал пение птиц и журчание ручейков, ибо радость ведет к легкомыслию. Пошел к ребе, спросил: «Что еще сделать, чтобы приблизить приход Освободителя?» Ребе ответил: «Купи кровать и пообедай...» Вы меня поняли?

Они не поняли.

– Злодейства за вами не оказывается, но этого мало. Мало Ему этого.

Опять не поняли.

– Прискучили Ему ваши стенания. Призвучили жалобы с воздыханиями. Предстаньте с веселием – это так просто!

– С утра и начнем...

И снова усомнились.

Подкормили его, подлечили раны на ногах; наутро собрался в путь, сказал Ушеру:

– Передай сыну своему... Жил на свете человек, который отправился на борьбу с силами нечистоты. Пением очищать вселенную.

– У меня нет сына. Одни дочери.

– Это мы поправим...

Первая в жизни удача – она самая главная: где, когда, у каких родителей появиться на свет. Иоселе родился у Ушера-зеркальщика, к Иоселе пристыла его душа, и Ушер сына баловал, не оставляя просьбы без исполнения.

Иоселе сидел по вечерам на кровати, не укладывал голову на подушку до прихода отца, а Ушер спешил домой, бросая дела с заботами. Сын расстегивал пуговицу на его рубаше, запускал внутрь ладошку, и идише-тате промурлыкивал в наслаждении: «Тридл дидл, дидл дудл, о-ля-ля...» А затем принимался за очередную историю – выдуманную, не совсем выдуманную, совсем невыдуманную, ощущая по шевелению ладошки интерес ребенка, испуг его или восторг. Блюма, жена Ушера, с умилением поглядывала на них, приткнувшись друг к другу, проговаривала шепотом известное всякому: «Еще больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его кормить». Потом Иоселе засыпал и виделась ему сны легче тени, как по податливым облакам лез на небо, по облакам-перинам, где дожидались его пестрые радости.

Было в один из вечеров. Взялся Ушер за сочинение истории, которая в переложении с киндер-майсе на вундер-майсе, с детского языка на волшебный звучала примерно так:

– Вот рассказ реб Ушера, сына реб Шолема, о маловероятном и неотвратимом, будто ручей в ручье, зеркало в зеркалах... Встал с постели грозный император, выкушал яйцо всмятку, гренки с маслом, запил сладким чаем, сказал министру двора:

– Снился мне нынче некий Шпильман. При пронырливых оборотах. Найти и обезвредить.

А камердинеры затянули его в мундир – не вздохнуть.



– Ваше императорское величество, не сообразоволите сообщить адрес дерзостного нарушителя?

– Адрес во сне не указан. Обезвредить без адреса.

И приступил к утверждению высочайших рескриптов, дабы привести в любовь и послушание столь пространное государство.

Выпустили секретный указ «Об отвращении вредных для империи поступков...» Разослали по губерниям титулярных советников, перебрали народы по городам и весям, обнаружили 23 тысячи 376 Шпильманов мужского пола старше тринадцати лет, которые отвечали за свои поступки перед земным и небесным правителем.

– Он мне опять снился, – сказал император поутру. – Злокозненный иудей в ермолке, ношение которой не дозволено.

Встал у окна, нахмурил брови – даже живность в лесах охватил трепет, рыб в реках, птиц в поднебесье, а о министре двора и говорить нечего.

– Ваше императорское величество, не сообразоволите раскрыть имя строптивого Шпильмана, дабы прибегнуть к решительным мерам понуждения?

– Имя во сне не упомянуто. Обезвредить без имени.

Разослали по уездам расторопных фельдъегерей, замордовали ямщиков на трактах, чтобы скакали без промедления, доставили в столицу 23 тысячи 376 Шпильманов, каждого допросили с пристрастием, но злоумышленника не обнаружили.

– Он снова мне снился! – в гневе вскричал император. – Премерзейший тип с пейсиками, которые безусловно запрещены!

И топнул ногой в высочайшем гневе, отчего задрожала Австрия, затряслась Франция, а малые страны изукрасились на всякий случай флагами безоговорочного согласия.

– Ваше императорское величество, не сообразоволите отметить особые приметы злодея, вышедшего из границ повиновения?

– Приметы не выказаны. Наказать без примет, и немедленно! Не то я тебя, министр двора, погоню с моего двора.

Рахмунес, идн, рахмунес!.. Собрали на плацу 23 тысячи 376 Шпильманов, выстроили в шеренги, вышел к ним министр двора, пуганный от полномочий, попросил по-хорошему:

– Шпильманы, не губите! Сознавайтесь ради малых моих детушек! Кто из вас, каналы, своевольничает в императорских снах? Говорите без утайки, уклонившиеся в крамолу, не то упеку до единого в вечные мерзлоты, безропотно и безотходно!

Спросили с почтением из шеренги:

– В вечные мерзлоты – к вечным работам?

– Именно! Для отыскания в недрах земли неисчерпаемых богатств.

– Отчего же всех до единого?

– Дабы наверное избавиться от нарушителя. Дерзнувшего коснуться Высочайшего сновидения!

В дальних рядах произошло шевеление. Вышел вперед не крупный еврей, покрутил золотистую пейсу, сказал с приличествующим поклоном:

– Вот он я, Ушер Шпильман. Имею обыкновение входить в посторонние сны.

Вскричал министр двора:

– Как же оно так?!

– Вот так. Снился полицейскому приставу, будто вытирал об него ноги, как о коврик, а сапоги во сне были нечищенные. Снился соседу-помещику, будто гнался за ним по полям и кричал: «Догоню – ущипну!..» Объявился во сне у господина губернатора, дым от сигарки пускал в сиятельный нос...

Эти слова заделали министра за чувствительное место его ранимой души:

– Узрев... Возлюбленного монарха... В величайшем удручении... За содеянные вероломства полагается тебя смерти предать!

– За чужие сны не отвечаем, – ответил Ушер. – Мало ли кому что снится.

– Враг, враг! Варвар и кошмар!.. Да я тебя разорву, я тебя в клочья!

– Рвите, – согласился. – Хоть в клочья. Хоть как. Всё равно буду сниться. А может, и привидением обернусь.

Перепугался министр, лицом побелел, осанкой сник, ростом опал, и Ушер ему сказал:

– Знаете, что я посоветую? Не впускайте меня в ваши сны.

– Как же тебя не впускать? Во сне мы беспомощны. Даже само императорское величество.

– Так ведь и я беспомощен. Пусть его императорское величество не спит – не дремлет.

Тогда не приснюсь...

Стемнело в комнате. Свеча погасла.

– История закончена. Спать, Иоселе.

Душа младенца недоступна пониманию. Маленький Иоселе лег на бочок, ладошку подложил под щеку, и с этой ночи начались злключения. Забиралась во сны к ребенку всякая противность – солдаты с ружьями, казаки с саблями, бомбардиры при мортирах. Рослые и безбородые, дикие и могучие, набегали пауками на голенастых ногах, лопатки рычагами ходили по спинам, – не укрыться в тайниках одеяла. Солдат поблескивал штыком, казак целился пикой, бомбардир прикладывал фитиль к пушке, чтобы пальнула, – Иоселе подскакивал на матрасе и вскрикивал от страха:

– Тателе, мамеле!..

– Не плачь, сынок, – успокаивал Ушер и для пущей убедительности брал в руки кочергу:

– Вот я приснюсь тебе и наведу порядок.

Иоселе задремывал у отца на руках, видел во сне штыковой бой, кричал в ужасе:

– Тателе! Приснись поскорей, ты же можешь!..

Ушер старался изо всех сил, отчего снился Блюме, любимой жене своей, снился соседям по ближним и дальним улицам; даже полковые дамы из расквартированной поблизости инфантерии разглядывали, будто наяву, рыжекудрого красавца, а их мужья бессильно сжимали кулаки во снах, усматривая его безразличие при всеобщем дамском поползновении, – на дуэль не вызовешь, в рядовые не разжалуешь, на Кавказ не сошлешь. Все в округе видели по ночам Ушера, но в сны к Иоселе он пробиться не мог, чтобы уберечь и защитить.

Спрашивал с надеждой по утрам:

– Я тебе не снился?

– Нет, – плакал Иоселе. – Приснись, тателе, ну приснись!..

Не спал допоздна от страха ночей. Тарашил в темноту глаза. Худел. Исыхал. Трепетал – бабочкой на стекле. Не надеялся уже на отца, и Ушер исыхал тоже.

В одну из ночей Иоселе сказал обреченно:

– Видел во сне турка. Бежал на меня и штык наставлял. А спасать было некому...

– Холеру ему в пупок! – всполошилась Блюма, жена Ушера. – Этого нам не хватало...

Пошли к старой Цирле, которая разменяла полтора века и пережила всех стариков в губернии, выставили на стол угощение, сообщили про удивительные сновидения. Цирля не могла вдеть нитку в иголку, но завтрашний день видела, как вчерашний.

– Турок со штыком?.. – переспросила. – Кому как, а еврею не к добру. Невыплаканные слезы отцов отольются у их детей.

И родители стали беспокоиться за Иоселе...

...шла война.

Залегли на пути горы.

Гремливые потоки пенились на перекатах, холодя ноги.

Солдаты в окопах промерзали до костей, и Иоселе Шпильман промерзал тоже. От ледяной стужи и леденящей тоски.

– Вбей турка! – кричал унтер, но Иоселе не мог, не получалось: боязлив и робок сердцем.

Туча напознала на тучу – полыхнуть огнем. Земля сотрясалась от топота сапог на марше, а на привале наваливалось отчаяние и рушило наземь. Полынь в горле. Удручение в сердце. Сухари в ранце. Тени за ночь пристывали к телам, не желая отпадать с рассветом, нехотя оттаивали к полудню, и лишь тень Иоселе пугливо жалась к хозяйским ногам. На привалах под ее прикрытием гомозились непуганые голуби; Иоселе сыпал им сухарные крошки, а они их подбирали, будто расклеивали на земле его подобие.

– Вбей турка, вбей, вбей! – требовал унтер и утешал Иоселе, понуждал коленом под зад, когда не замечало начальство, а колено у него было каменное.

Вся рота называла его «Иоселе, вбей турка», вся рота потешалась над слабосильным новобранцем, изнуренным холодами и скорбью, а он был младенцу подобен, младенцу, подброшенному к чужому крыльцу, у порога недоброго жилища. Иоселе лежал на спине долгими ночами, взглядом, мыслью, тоской пробивался в небеса, а оттуда в небеса небес в ожидании отклика, совета, поручения, – вот человек, прикованный к ранцу, штыку и прикладу. Слеза запекалась в глазу, мешая смаргивать. Желчь разливалась по округе в горечи прегорчайшей. Отчаяние сотрясало миры, стоном отзываясь в горах. Истаивали вокруг сожаления, ненависть оголяла сердца, а он шептал истово сказанное во дни позабытые: «Опротивела душе моей такая жизнь...»

Ядром оглаживало. Картечью щекотало. Пулей дырявило. Подсаживался на привале справный солдат Ваня Ключик, ростом низок, норовом петушист, говорил с пониманием:

– Спрашивай бывалого, Ося, а тебе ответят.

– Где правда, Ваня? Правда где?..

– Правду ему... Всё правда. И то, и это. Вся наша жизнь, Ося, сплошное совпадение. Уходишь на войну – не оборачивайся. Обернешься – побежишь назад, к мамке своей.

– Для чего умирать не в свой срок? Для чего, Ваня?..

Этого солдат не знал, но знал он иное:

– Не пугайся своего страха, Ося. Подойди и дотронься до него. Первого убить всегда боязно – потом полегчает.

Турок подступал, бил без милости, свиреп и неуступчив в рассыпном строю, а унтер подкручивал ус, натирал штык салом, чтобы легче входил, кричал зычно:

– Вбей турка, ну вбей, хвороба тоби у пузо!

И тыкал кулаком в бок, а кулак у него был железный.

– Ты пой, Ося, ежели страшно, – поучал Ваня Ключик, сметлив и проворен. – Громко пой, когда в атаку пойдем. Только глаза не жмурь.

Мутные дни. Скорбные ночи. Замордованные пространства. Туманы клубились по утрам, саваном обвивая, нехотя стекали в ущелья, истаивая без остатка, а взамен напознали мглистые пороховые дымы. Тут жуть и там жуть. С вершины пальба, а по бокам провал. Громадный турок в красной феске набегал с верхнего ложементов, наставив ружье; злоба слюной пузырилась у него на губах, медали сверкали на груди, отражая последний солнечный восход в жизни Шпильмана. Иоселе не жмурил глаза. «Шма, Исроэл...» – громко запел Иоселе и упал навзничь от мощного толчка, а на него обрушилась многопудовая тяжесть, будто навалилась могильная плита, перекрыла свет, воздух, прежнюю жизнь, в которой Иоселе не был еще убийцей. Турок придавил сверху, по дуло насаженный на штык; из турка неспешно вытекала кровь, изо рта выходило последнее дыхание, которое пахло кашей с бараниной, а вместе с дыханием исходила из него душа, неподвластная тлену.

– Ого! – с почтением сказал унтер и высвободил Иоселе, откатив в сторону огромное тело. – Вбыв такы турка...

Вся рота пришла взглянуть на поверженного врага со многими регалиями на груди. Вся рота называла теперь новобранца «Иоселе – вбыв такы турка», а он лежал без сна на спине, повергнутый в печаль, глядел в темное небо, словно высматривал миры, наделенные разумом, тайны Его путей, чтобы снизошло понимание, намек с подсказкой, возвышал шепот в ночи: «Ты, который всё знает, – где Ты? Спустись и посмотри!..»

Служивый кавалер Ваня Ключик, девичий угодник, заливался голосистой пташкой, подпуская куража в строю:

Пресвятая Богородица!  
Где злодей мой хороводится?..

Сапог теснил ногу. Песня теснила дыхание. Пыль душила на марше, и горчела вода в колодцах, непригодная для питья. На скалистых отрогах сидели орлы, взглядывали без интереса на гигантскую серую гусеницу, что вползала в ущелье, поблескивая штыками.

– Не задремывай в строю, Ося, – уговаривал Ваня Ключик. – Руку за руку закидывай, ногу за ногу волочи, а там и катком катись.

Они проходили через село, где жили болгары, и Иоселе углядел торговку на базаре, которая – будто к его приходу – выставила на продажу семена в холщовых мешочках.

Как в грудь ударило, молнией просверкало в голове:

– Мне! – закричал Иоселе, всполошив всю роту. – Всякого и побольше!..

Земля была цвета крови. Трава цвета крови. Бурая роса на бурых камнях. Одуванчики высевали порозовевшее семя на мундиры солдат: палые жизни – палой листвой – сдутые к случайной обочине. Отстонали, отхрипели, отпузырились кровавой слюной; тени за ненужностью отступились от поверженных, которые привыкли быть живыми, дерзостно напористыми, и следовало теперь немало потрудиться, чтобы освободиться от этого. Они лежали в беспокойной позе, не согласные с неладной долей: натружены шеи, скованы мышцы, обожжены нервы, набухшие сосуды еще надеялись проталкивать кровь, – понадобится время, чтобы смириться, прильнуть к земле в муках обывания, обнажить себя до потаенных глубин для предъявления истинных заслуг, а это, должно быть, непросто. (Одни пребывают в естестве своем от рождения, подобно птицам, мотылькам с кузнечиками. Другим нужны годы, чтобы пробиться к себе. Есть и такие, которым для этого надо умереть.)

Ангел смерти уже покинул поле боя, поспешая к иным баталиям, а Иоселе ходил от одного тела к другому, закладывал семена в карман, в зачоченевшую руку, в разодранный криком рот. Закладывал своим с чужими, шептал с надеждой:

– Ты станешь яблоней. Ты – грушей. Из тебя вырастет слива, а из тебя, друг Ваня, вишенное дерево...

Ваня Ключик, удача-парень, затерялся малым ребенком посреди поверженных – не пробудить песней. Ваня глядел вприщур из-под оплывшего века потерявшим цвет глазом, как соглашался:

– Вишенья – это по мне, Ося. Алое, с наливной ягодой: хоть в рот, хоть на базар...

– Чего делаешь? – спросил унтер и дал тычка для острастки.

– Ты распорол, ты и сшей, – разъяснил Иоселе выстраданное, подсказанное свыше, и ошарашенный унтер побежал к ротному, ротный к полковнику, полковник – в штабную канцелярию. Вызвали Шпильмана к молодцу-генералу, спросили грозно:

– Это ты «Иоселе – вбыв турка»?

– Я, ваше высокое благородие.

– Говори, чего умыслил?

Сказал Иоселе генералу:

– Состоявшееся однажды не исчезает. И пусть каждый солдат, отправляясь на войну, положит в карман своего мундира шишку, желудь, малое семечко. Мертвому не улыбнуться, не залечить раны на убитом...

...но там, где найдет смерть свою, там, где покроет его земля, вырастет со временем лесное дерево, садовое с палисадным. Сгинет плоть в непригожем месте, сгнут глаза во впадинах и языки во рту, но проявятся – убеждением от забвения, эхом отшумевших народов – дубовый лес, яблоневый сад, сосновая роща, в которой прорастут грибы, поселятся птицы, потекут липкие смолы. Ландыши проклюнутся по весне. Липовый цвет. Колокольчики к лету. Поляны вскипят ароматами от предрассветной росы. Земля обновится, небо возрадуется – вот вам и польза от сражений...

– Мертвому не улыбнуться... – повторил озадаченный генерал, прошелся по кабинету из угла в угол, притворил дверь поплотнее от любопытствующих адъютантов: – Сам придумал?

– Мне подсказали, – сообщил Иоселе, а кто подсказал – не сообщил.

Генерал похмыкал-пофыркал, будто умыл лицо из пригоршни, почесал в недоумении бровь – мутновато для разумения, высказался таким образом:

– Во-первых, мы не собираемся воевать на своей территории, а озеленять чужие – не наше дело. А во-вторых...

Затосковал. Распушил красавицу-бакенбарду, которой повергал на уступчивость небаланованных уездных дам. Спросил тихо:

– Чистое от нечистого – возможно ли?..

Спросил – сам на себя подивился.

– Возможно, – ответил Иоселе.

– Взойдет ли саженец?

– Взойдет, – снова ответил Иоселе.

Распушил вторую бакенбарду, руку положил на плечо солдата:

– Убитые, конечно, промолчат, но им бы это понравилось... Как, говоришь, твое имя?

– Иоселе.

– Нет ли у тебя, Иоселе, черешенной косточки?

Спросил – сконфузился.

– Есть.

– Нет ли семечка от райского яблочка?

– Найдется и семечко. Лучших сортов.

– Оба давай. Для надежности.

И упрятал в карман генеральского мундира.

– В лазарет его. На излечение.

Иоселе-печальника отправили в лазарет, уложили на койку, подержали месяц, промывая полезительными клистирами, по этапу переслали домой, истомленного-изможденного.

Там его не узнали:

– Ты кто?

Ответил:

– Иоселе – убил турка.

– Какого турка?

– Большого. В красной феске. Который ел кашу с бараниной.

Жил потом тихо, в немоте пребывания, как внутри отзвучавшего колокола, эхо которого не замолкало. Плечами сутул. Глазами печален. Борода в проседи. Люди не мешали ему, люди его отвлекали, взглядывая на Иоселе чаще, чем ему хотелось, ибо никто в местечке никого прежде не убивал. Закрывал ставни во внешний мир, застегивал пуговицы, запахивал полы пальто, наглухо подпоясывался кушаком: себе в тягость и не в тягость другим. Запаливал копилку к рассвету, свивал нить из конопляного волокна, скручивал пеньковые веревки на про-

дажу, о женитьбе не помышляя, и род человеческий умножался без его участия. Годы проваливались неприметно, монетой из дырявого кармана, а Иоселе-веревочник накручивал на палец золотистую пейсу, с надеждой поглядывая на небо, но оттуда ему не отвечали, ибо цель жизни уже выполнил. Призвал его ребе, скручиватель судеб, сказал:

– Нет, Иоселе, еще не выполнил. Живому беспокоиться о живых: Песя ди Гройсе – чем не невеста?

Песе было за тридцать, и Песя ди Гройсе, Большая Песя возвышалась в базарном ряду головой над всеми. Стулья ее не выдерживали, кровать прогибалась, половицы проминались под тяжелой поступью: всё у Песи поражало воображение, хоть и не казалось излишним. Счастье – оно не в размерах: Песя ди Гройсе была покинута мужем, ибо не знала зачатия и родовых мук, не удостоилась прикосновения к груди требовательных младенческих губ, не изливала с избытком сладкое, насыщающее, обращающее в блаженный сон. Бесплодная Песя не высматривала себе нового мужа, торговала на базаре квашеными бураками, печально глядела на мир, но ребе сказал – и она согласилась.

Цирульник Бадер постриг жениха к свадьбе и не взял за это денег. Портной Кравчик перекроил за спасибо старый лапсердак. Сапожник Шустер накинуд подметки на прохуdivшиеся сапоги и не заикнулся об оплате. Булочник Бекер испек хлебы. Кондитер Цикерник выставил на стол штрудл и цикер-леках. Кабанчик с Баранчиком, от рождения несытые, явились со своим аппетитом. Танцман, веселый еврей, пошел в пляс, чтобы порадовать невесту:

– Стоит дид над водою, колыхае бороною... Эй, пан, пан, пан, на что ты нам дан?..

В доме было тесным-тесно, а потому каждый танцевал на месте своем. Кому не досталось места, танцевал в душе, и даже старая Цирля, пережившая всех в Российской империи, помахивала слегка платочком.

– Желанная мужу, – говорила, – желанная Господу. Миру не заселиться без нашего участия...

Печаль полнится теплотой. Радость ее растрчивает. К ночи Иоселе уложил жену на кровать, лег рядом и для начала пропел песню, как передал без остатка накопленное тепло:

– Бог создал для Песи землю. Земля родила для Песи дерево. На дереве выросла для Песи ветка. На ветке птица, на птице перышки, из перышек – подушка, на подушке – Песя ди Гройсе, которая родит мне сына.

А Песя ворковала в ответ:

– Ой ли вэй ли, ой ли вэй ли, лю-ля-ля...

Пламя не отделить от фитиля.

Ребенка у них не было, несмотря на старания и горячие просьбы. Призвала Песю жена ребе, сказала:

– Вус? Фарвус?..

– Ребецн! – заплакала Большая Песя. – В прежние времена молились за бесплодное дерево, чтобы Всевышний дал ему изобилие. Помолитесь и за меня.

Жена ребе ответила:

– Что ты с собой делаешь? Как одеваешься? Как дом содержишь? Если Иоселе тебя терпит, это еще не значит, что вытерпит Тот, Который... Думаешь, Ему приятно смотреть на Песю ди Гройсе, заходить в ее дверь, выслушивать ее молитвы? Сказано – и для нас тоже: «Проклята будет женщина, которая имеет мужа и не наряжается».

И так оно стало. Посвежело лицо, омытое кислым молоком. Побелели руки. Одежды стали опрятнее, избавившись от запаха квашеных бураков. Дом пропах корицей, основательно и насовсем, словно счастье обладало этим ароматом и не обладало иными. Соль, просыпанная по углам, уберегала семью от сглаза. Стол, оттертый до блеска, призывал к трапезе, а подушки ко сну. Семь копеек на хлеб, три на селедку, три на крупу и картофель, полторы копейки на

лук, соль, перец, – Песя не заставляла Иоселе ждать еду, не будила, когда он спал, обращалась с мужем, как с царем, а он относился к ней, как к царице.

Чудо следует заслужить, и Иоселе – царь в доме своем – этого, должно быть, сподобился. Через положенные сроки проклюнулся живот у бесплодной Песи, и появился у них заморыш, выпрошенный молитвами, который укладывался в Песину ладонь, как в люльку, присасывался к могучей груди – не оторвать, заливаясь материнским молоком, а Песя ди Гройсе смотрела на это чудо и толстела от удовольствия. Сквозь прозрачные его пальцы проглядывали косточки, словно у малька в пруду, и косточки эти были стиснуты в кулачок. Разжали с остережением и обнаружили семечко в ладонке, крохотное, от незнакомого растения, а что вырастет из него – неизвестно. Мальчика назвали Мотл...

...Мотеле проплакал без слез первые свои года, и его не могли утешить. Ребе сказал:

– Этот ребенок – гвоздик, на который вешают страдания. Ему больно оттого, что больно другому – хоть тут, хоть в Бердичеве. Такое уже бывало. Но такое пройдет.

Папа Иоселе рассказывал перед сном:

– Жил на свете великан по кличке Дрыхало, ленивый и невстанливый, который очень любил поспать – до еды, во время еды и после нее. Чтобы достать продукты на завтрак или обед, он садился под деревом и засыпал, вытянув поперек поляны длинные свои ноги. Пробегали мимо обитатели леса, спотыкались о его конечности: просыпайся и ешь...

Мотеле плакал от жалости к лесной живности, и мама Песя спешила исправить папину ошибку:

– Жила на свете кошка, которая была очень доброй. Она жалела всех, даже комаров с мухами, и полагала, что лучше умереть с голоду, чем позавтракать каким-либо мышонком...

И Мотеле снова плакал – теперь уже от жалости к кошке, которая могла погибнуть от истощения.

Мир проявлялся постепенно, завоевывая позиции, соблазнял крикливыми новшествами: «Лимонад Газес», «Трактир „Фриштик“ для знатных персон», «Бюро погребальных и свадебных процессий с участием генерала, пожарного обоза и бенгальских огней». А Мотеле рос пока что, задумчиво поглядывал на заветное семечко, хранившееся в маминой шкатулке, Мотеле – фарфоровый мальчик, за которого всегда боязно. Его бы переложить сеном, чтобы не раскололся на колдобинах жизни, на него поместить бы наклейку «Осторожно. Стекло», но до этого тогда не додумались.

Папа Иоселе не накопил сыну наследства. Лишь опечалился напоследок:

– Мне горестно, что оставляю тебя в таком мире. И стыдно.

Мама Песя добавила:

– Не разбрасывайся теми, кто тебя любит, Мотеле. Таких будет немного.

А Мотеле уже оплакал свой срок и жил затем тихо, каплей дождя на траве. Хрупок, тонок в кости, Мотеле говорил негромко, с запинкой, запутывался в долгих фразах без надежды на вызволение, как в чужих, не по росту, одеждах, улыбался стеснительно на всякое обращение, словно существовал не по праву, занимая соседское место. Обступали его клейкие привычности, которым не стоило поддаваться; любил уединение и предавался мечтам, участвуя в путешествиях души, отставал в развитии, лишенный злых побуждений, ёжился от нестерпимых грубостей, а это удивляло.

– Его скоро заберут, – шептались за спиной соседи. – Уж больно чист...

Мотеле возвысился в селении до уровня дурачка, и о нем заботились. В каждом местечке был свой дурачок, который позволял себе многое, недоступное прочим, отчего не трудно загордиться, возжелать невозможного, – без разума дураку не прожить.

«Фигли-мигли, любовные утехы!», «Волшебные фонари и картины к ним», «Книга доктора Лоренца „Грехи молодости“ – поучительное слово к каждому, кто расстроил нервную

систему онанизмом и распутством». Объявился в местечке бродячий коновал, рудометчик и зубодер, распряг лошадь на базарной площади, выставил на продажу заморские снадобья, незамедлительно к излечению склоняющие, разложил на телеге мазь для изведения мозолей – «безвредно и доступно каждому», крем «Метаморфоз» от веснушек, помаду-фиксатуар «Букет Плевны», мыло «Мягкое», мыло «Огуречное», а также ядовитое средство от нашествия тараканов с пугающей этикеткой: «Мор! Отрав! Погибель! Перед употреблением взбалтывать».

– Кого взбалтывать? – веселились насмешники. – Неужто тараканов?..

Коновал не снизошел до ответа и вынул напоследок новинку, слезную водицу в скляничках для промывания глаза и утишения в нем жжения. Столпился народ, разглядывая невиданную диковину, недоумевал по поводу:

– Как же оно в приготовлении?..

Зубодер разъяснил по-простому:

– Сидят в ряд плакальщики с плакальщицами. Им рассказывают грустные истории с печальным концом, они горюют полный рабочий день, и набирается слезная водица в склянички.

– За это платят? – спросили.

– А то нет!

Народ дружно вздохнул:

– Нам бы такую работу... И печаль не надо.

Бадхан Галушкес – вислоухий, полоротый и пучеглазый – глотал огонь на свадьбах, танцевал на руках, чревоуещал на всякие голоса, чудил и проказил, потешая гостей до желудочных коликов. При такой несерьезности профессии был Галушкес умозрителен не в меру, искал ключ к пониманию, докапываясь до основ, поучал всех и каждого:

– Увеселить – это понизить, заставить человека пасть наземь от смеха. Возвеселить – значит возвысить, вознести в утешении. Тихо, ша! Не дыша!..

Никто не улавливал разницы, и тогда Галушкес разевал от усердия рот, пучил сверх меры глаз:

– Радуйтесь к обновлению чувств. Благодарите за радости. Адрес у благодарности – один...

Мир беднел, свадьбы откладывались, увеселителям не было заработка, однако Галушкес взял Мотеле в дело, чтобы пригреть сироту. Вдумчив, не в меру серьезен, Мотеле высматривал оттенки человеческой души и их несообразности, а оттого в потешатели не годился, в собрании веселящихся чувствовал себя не на месте.

– За вас кто-нибудь беспокоится? – спрашивал свадебного гостя. – За вас пора побеспокоиться. И за вас тоже. Возьму это на себя.

– Ребенок шутит, – с почтением шептались вокруг. – Ум его не созрел, но голова летает...

И смеяться уже не хотелось – хотелось окунуться в печаль.

Абеле-горшечник взял Мотеле в подмастерья – таскать воду, мять глину, вынимать из печи звонкие, жаром налитые кринки, махотки с корчагами, которые раскупали на базаре. Мотеле уходил по вечерам в поле, слушал журчание воды в ручейке, посвист грызунов, шуршание колосьев на ветру, теплотой рук разогревал глину в ладонях. Наплывали беспричинные радости, как дуновения лета. Цветы клонили головы, сомлевшие от собственного благоухания. Глина противилась поначалу, грузная и неподатливая, а затем размягчалась в ладонях у фарфорового Мотеле, ощущая, быть может, свое с ним родство. Глаза закрывались. Душа высвобождалась из теснин тела. Ветер навевал предзакатные звуки, которые сливались в единую мелодию и перетекали от плеч к ладоням. Пальцы лепили нечто, одним им известное, и выходили на свет диковинные долгоносые птицы с хохолком поверху.



Что делает шрайбер, земной писец? Перевивает буквы строкой в черноте чернил. Что делает шрайбер, писец небесный? Перевивает судьбы, затейливо и прихотливо. К шестнадцати его годам Мотеле женили. Сироту звали Шайнеле, и сваха Шпринца сказала:

– Как проверяется невеста? По глазам. По глазам – каким образом? Если они нехороши, следует искать телесный изъян. Если хороши, искать не надо.

Глаза у Шайнеле – лесным озером в полдень, утонуть без возврата, теплотой души опахивала на подходе. Сваха Шпринца прошлась по домам, собрала цимес, фаршированную шейку, жаркое с черносливом – мало не показалось, ели и насытились. Бадхан Галушкес изображал в лицах, как глухой Берчик и слепой Исролик не поделили в бане мыло с мочалкой, как обжора Бухер с разиней Шлепером кушали компот из одной миски, – гости плакали от восторга, души вознося в веселии. Попили, поели, пожелали молодым: «Живите. Нас радуйте», разошлись по домам со спокойным сердцем.

Мотеле во многом не разбирался, даже в денежных знаках, но одно знал наверняка.

– Шайнеле, – сказал прежде всего. – Ты молодая, я молодой. Давай останемся в детстве. На всю жизнь.

– А как же дети, Мотеле, которые у нас появятся?

– Вместе с детьми.

Когда муж приходит к жене, радуются даже Небеса. Изъянов у Шайнеле не оказалось, и дети не заставили себя долго ждать. Первым появился Мойше, дерзок, своенравен, и сразу отбил от рук. Бегал быстрее других, рос быстрее других, вытягивались по отдельности части его тела, тоже своенравные, не стоворившиеся друг с другом, а оттого Мойшеле был нескладен, не в ладах с собой, вечно всё задевал, ломал, опрокидывал. Его ноги жили путаной жизнью и уводили в ту сторону, куда не собирался. Его руки двигались сами по себе и творили такое, отчего ахали соседи: гонял козу по крышам, запрягал кур в тележку, водил гуся на поводке, словно свирепого пса. Ухватил во дворе петушка, затащил в комнату – тот заматался с печи на лавку, со стола на кровать, опрокинул шкатулку на полке, склевал походя заветное семечко, с которым Мотеле явился на свет.

Кому хочется верить, пусть поверит. Вскоре у петушка надулся на голове желвачок, проклюнулся росток над гребешком, пустил зеленую стрелку, на конце которой распустился цветок из невиданных земель, нацеленный клюв, хохолок из лепестков – восторженно-оранжевых и глубинно-лиловых. Куры копались в навозе, чванился петушок с хохолком, и когда он наклонялся, чтобы подобрать червяка или зернышко, цветок наклонялся тоже и склевывал невидимое глазу.

– Ребе, что это?

– Ташлиль, – сказал ребе. – Цветок ташлиль, капризный и своенравный, отрицающий законы естества. Созревая, высевает семена надежды, ожидания с разочарованием, сводит с ума знатоков.

– Для евреев это хорошо, ребе?..

Глядел с телеги проезжий мужик. Лошадь не двигалась, замороженная чудным зрелищем, косила громадным глазом, в котором помещался клюв с хохолком. Теснились за забором случайные прохожие, взирая с остоленением на невозможную красоту: «К чему оно и отчего оно?!...»

– Ах! – восхитилась барышня из проезжего тарантаса, преподаватель естественных наук Оталия-Луиза фон Фик, выписанная из заморских краев. – Это же редчайший цветок, Птица райских садов, – уступите вашего петушка за хорошие деньги. Дабы, обратив оный в чучело, пробуждать в пансионерках неизбывный интерес к учению для образования ума, сердца и характера...

Петушок тщеславился долго, изумляя своих с пришлыми, но век был уже на сносях, готовый разродиться, по местечку собирались по двое, пели с оглядкой: «Отречемся! Таки

отречемся!..», отчего вперебой бились сердца и потели ладони. Надвигались перемены в судорогах бытия. Намечался переворот в умах и обычаях. Старое истлевало, новое не нарождалось. Тешились нанизыватели словесных бус: что прежде возвышали, то принялись умять. Боевики рыли подкопы под самодержцев, закладывая заряды к потрясению основ. Прятался по чердакам картавый студент в пенсне, заросший курчавой стерней, который желал всё улучшить и знал как этого добиться «на лоне социальных идей».

– Всё? – спрашивали его в пугливом восхищении.

– Всё, – отвечал. – Всё-всё. Чтобы стало затем как следует.

Упрямцы возражали весьма unsuccessfully, по единому предассудку:

– Мы не хотим как следует. Хотим так, как мы хотим.

Студент возгорался до такого градуса, что запотевало пенсне:

– Консерваторы. Ретрограды. Враги неумолимого прогресса... Вы хотите неверно!

А это становилось опасным.

Взгляды пугали. Слухи страшили. Неурочные колокольные звоны загоняли в укрытия. Возрастали тревоги на земле тревог, прорастали зерна дерзости и неповиновения, по беспечности не замечаемые; пьяные дрожжи охмеляли головы, заквашивали злобу с вожделием – опарой из корчаги, народ по округе неуклонно обращался в слякотный люд, готовый стечь по любому уклону. А по улицам бегал мальчонка-шустрец, которого жида – по достоверным сведениям – давно уже извели на мацу.

Палкой тьму не разгонишь.

Пошли за советом к старой Цирле, у которой не было возраста, и она сказала им, позабывшим о смехе:

– В дни покоя не заботились о днях печали... Ой человеку, который видит и не знает, что он видит.

– Где покой, Цирля? Откуда у нас покой?..

Кто долго болеет, тот, как известно, долго живет. Цирля добралась до невозможных лет и смотрела уже не наружу, а внутрь себя. Мир для нее не существовал; в ней самой располагался весь мир, и Цирля отослала их к раввину, который помнил еще, когда он родился.

– Ребе, – вздохнули в сокрушении. – «До основанья, а затем...», – куда уж затем, ребе? Извратилась земля. Изверились люди. Меж теснин, ребе: дни в суете – ночи в ужасе.

Старый ребе – бледный, тщедушный, с юных лет изможденный учением – вступил наконец в такие года, когда его внешность стала соответствовать его возрасту. Ребе отбрасывал уже не свою тень – тень мудрого наставника, родившегося с кипой на голове, и разъяснил по явленным обстоятельствам:

– Не с теми боремся, идн, не тех опасаемся. Истинные несчастья рождаются из опасения мнимых.

Не уловили они, ох, не уловили...

Был манифест. И было буйство. С кольями, дубьем, жердинами из плетня. «Я не участвую в этом», – сказал Господь, но Его не услышали. Окульский сын вышиб двери у Тагера. Паранькин кум порушил мебель у Цузмера. Пелагейкин зять вспорол подушки у Блюмберга. Афанасий-насий-насий – заика с колуном – заломал камень на могиле рабби, который уводил избранных в глубины сокровенного. Соседи. Сто лет вместе. Хаты иссохшие, стены погнившие, на крышах мох с соломой – не отличить. «А взять-то у них есть чего? А взять-то у них нет ничего...» Прибежала хворая вдова Федосьица, припоздав к разбору, погналась за живностью на дворе, загребая увечной плотью, прихватила петушка цепкой рукой. Не спрятался, потому что глупый, не убежал, потому что гордый, – прокричал напоследок тоскливым воплем, как насылал беду на округу, но вдова Федосьица не обеспокоилась: свернула петушку шею, сварила в казане курячий суп с бураком, с Птицей райских садов, отобедала с чувством. Ежели петух

бегают без головы, значит, не теряет еще надежды; ежели кричит перед кончиной, и громко кричит, надсаживая глотку, мясо его слаще, навар с петуха гуще и сытнее.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.